Ю. СЕМЕНОВ

СЕМЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО

(Литературный сценарий).

"Мосфильм"
1978 г.

НОЧЬ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ

На путях, около склада, крыша которого наполовину сорвана, стоит железнодорожный состав. Рабочие разгружают мешки с мукой.

По перрону быстро идут трое - в кожанках, с маузерами, останавливаются около часового. Один из трех, видимо, старший, спрашивает часового:

- Откуда хлеб?

- Из Сибири!

- Прекратить разгрузку, мешки обратно, эшелон уходит на Сортировочную.

- Нет такого приказа, - ответил часовой, - для голодных московских детишек велено тут разгрузить.

Старший, в кожанке, достал из кармана мандат:

- Предписание ЧК, - обернулся к машинистам. - Живо в паровоз!

- Предписание оставьте, - сказал часовой. - А то утром одно, вечером - другое...

- Ты что ж, ЧК не веришь? - усмехнулся старший.

Легко вскочил в кабину машинистов, двое его спутников прыгнули в вагоны, состав тронулся.

Паровоз набирает ход; старший, в кожанке, наблюдая за работой машиниста и кочегара, закуривает, потом смотрит на верстовые столбы.

- На семнадцатой версте остановись, - говорит машинисту,- там наш пост.

Состав медленно останавливается. Человек в кожанке цеп-

ко следит за движениями машиниста.

- Еще маленько протяни вперед, версту, не больше.

Тот пускает паровоз, снова тормозит.

Человек в кожанке достает из внутреннего кармана пистолет и стреляет в затылок: сначала машинисту, потом кочегару.

Из леса к составу подъезжают десять подвод; в полной темноте мешки с хлебом выгружают на подводы.

Подводы исчезают в темном лесу.

Человек в кожанке, повторяя движения машиниста, запускает машину, паровоз трогается; человек прыгает с подножки, спрашивает одного из своих спутников:

- Стрелку перевели?

- Через три версты повалится в овраг, - отвечает тот.

- Приготовь сообщение Глазову - полный порядок!

- А где сегодня ночуем?

- Есть явка... Пару дней отсидимся, а там мост на Оке грохнем - крышка тогда москвичам полная...

НОЧЬ. МОСКВА.

Трое входят в подъезд, поднимаются на второй этаж, останавливаются около двери с табличкой "Кирилл Прокопьевич Николаев".

Звонят.

Старший что-то говорит шепотом в чуть приоткрывшуюся дверь.

Дверь распахивается. На пороге - инженер-путеец Николаев.

но следит за движениями мошенника.

- Еле сколько против ветра, вперёд, по ветру, не больше.

Тот пускает паровоз, опять тормозит.

Человек в кожанке достаёт из внутреннего кармана шпо- толет и стреляет в затылок: оттуда мошеннику, потом кочегару.

На лесе к составу подгоняют десять подвод; в полной темноте мешки с хлебом выгружают на подводы.

Подводы исчезают в темном лесу.

Человек в кожанке, повторяя движения мошенника, опускает монету, паровоз трогается; человек прыгает с подножки, спрашивает одного из своих спутников:

- Сколько примерно?

- Через три недели появятся в Одессе, - отвечает тот.

- Прикрытие обеспечено Гаврику - полный порядок!

- А где сейчас Мишка?

- Хоть иди... Пару дней отсиделся, а там может на Оле уровень - прямо тогда московским поездом...

<u>НОЧЬ. МОСКВА.</u>

Трое входят в подъезд, поднимаются на второй этаж, останавливаются около двери с табличкой "Кирилл Прокопьевич Николаев".

Звонят.

Старший что-то говорит шепотом и чуть приотворяется дверь.

Дверь распахивается. На пороге - инженер-путеец Николаев.

— Мы к вам, Кирилл Прокопьевич, — тихо говорит старший.

И, пропуская мимо Николаева своих спутников, кладет у двери рюкзак.

— Мука, — поясняет он. — Правда, ржаная.

Николаев хмыкает презрительно:

— Прошу...

МОСКВА. КРЕМЛЬ. КАБИНЕТ ЛЕНИНА.

Возле окна, за маленьким столиком, обхватив голову длинными пальцами, сидит Дзержинский, напряженно читает толстый том, делает быстрые выписки.

За столом, напротив Ленина, сидит народный комиссар юстиции Дмитрий Иванович Курский.

Ленин, чуть подавшись вперед, тихо сдерживаясь, нередко поглядывая в сторону Дзержинского (не мешает ли тому работать), говорит:

— При царе, товарищ Курский, прокуроров гоняли и повышали по проценту выигранных ими дел. Мы переняли от царской России самое плохое, бюрократизм и обломовщину, от чего буквально задыхаемся, а умного перенять не сумели. Каждого члена коллегии наркомюста надо оценивать после справки: скольких расхитителей и бандитов ты осудил на расстрел? скольких коммунистов закатал в тюрьму втрое строже, чем беспартийных? скольких бюрократов бросил в тюрьму за волокиту? скольких купцов за злоупотребление по нэпу ты подвёл под нешуточное наказание? Не можешь ответить на этот вопрос? — значит, ты шалопай, которого надо гнать из партии за "комболтовство" и "комчванство"!

- Владимир Ильич, нарком по иностранным делам, товарищ Чичерин, зовет к сдержанности... Он полагает, что слишком крутые меры против наших новых капиталистов могут шокировать Европу...

- Меры могут шокировать, коли беззаконны. А как идет подготовка к новому гражданскому законодательству? Не поддавайтесь наркоминделу, который по должности имеет линию приспособления к Европе, а боритесь с этой линией, вырабатывая новое советское право. Мы допускаем капитализм государственный, а государство это - мы! Торгуй, наживайся, мы это тебе позволим, но втрое повысим обязанность советского купца быть честным! Когда можно ждать от вас, товарищ Курский, проекты кодексов - хотя бы в самом сыром виде?

- Через месяц.

Курский поднялся, обменялся рукопожатием с Лениным, вышел.

Ильич поглядел на Дзержинского, погруженного в работу, снял трубку телефона:

- Лидия Александровна, пожалуйста, попросите зайти ко мне товарища из стенографического бюро.

Поднялся, подошел к столику, за которым сидел Дзержинский, спросил:

- Каково?

- Страшно, Владимир Ильич.

- Печально, - сказал бы я, - чуть усмехнулся Ленин. - Страшно было, когда шла война. Войны нет более, посему "страшно" - слишком драматическое определение...

Он отошел к окну, прикрыл форточку.

- Мне не дует, Владимир Ильич, - заметил Дзержинский, - спасибо.

И - снова погрузился в чтение, делая выписки.

Вошла стенографистка.

- Добрый день, - сказал Ленин, - я вас задержу ненадолго. Первое: письмо в Политбюро по тезисам Наркомфина. Не поручить ли Президиуму ВЦИКа принять постановление: наркоматы обязуются представить проект о переводе служащих - всех, кто связан с экономикой - на отношения к обороту и к прибыли, с жестокой карой за убыточность, вялость, волокиту и с обязательством отвечать на торговые вопросы в течение трех - шести часов под страхом тюрьмы не ниже пяти лет! За лучший проект постановления - премия сто тысяч рублей золотом, каковая увеличивается после годичного испытания успехов такого постановления, причем, в проценте успеха: сто процентов успеха - сто процентов премии, один процент успеха - один процент премии... Теперь, пожалуйста, записка товарищу Чичерину. Изоляцией и блокадой нас теперь не запугаешь, интервенцией тоже. Отклоняют наши мирные предложения? Как угодно! Ультиматумам не подчинимся. Желаете торговать? Давайте, но хотя в [illegible] не купишь. Надо приготовить и расставлять все наши пушки - на случай начала мирных переговоров с Антантой - решить же, какие для демонстрации, а из каких стрелять и когда стрелять - всегда успеем. Я не очень быстро диктую?

- Нет, нет, Владимир Ильич...

- Хорошо. Теперь к проекту тезисов о задачах профсоюзов...

Ленин поднялся, начал ходить по кабинету:

- Если все наши руководящие учреждения не достигнут того, чтобы мы берегли всякого спеца, работающего добросовестно,

хотя бы он и был идейно чужд коммунизму, то ни о каких успехах в деле социалистического строительства не может быть речи. Мы во что бы то ни стало должны осуществить, чтобы специалистам, как особой социальной прослойке, которая останется особой прослойкой впредь до достижения самой высокой ступени коммунистического общества, жилось при социализме лучше, чем при капитализме, в отношении и материальном и правовом. Теперь, пожалуйста, - Ленин попросил стенографистке, - на отдельной страничке, впрок, для статьи... Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к реформистскому, постепеновскому, осторожно-обходному методу действий в коренных вопросах экономического строительства. Нет ли тут признания краха, сдачи позиций или чего-либо подобного? Враги, конечно, говорят, что есть. На то они и враги. Для настоящего революционера самой большой опасностью является преувеличение революционности. Революционеры больше всего ломали себе шею на том, что начинали писать " революцию" с большой буквы, возводить революцию в нечто божественное. Настоящие революционеры погибнут лишь в том случае, если потеряют трезвость и вздумают, будто "великая, победоносная, мировая революция" все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному... Коммунизм и торговлю? Это кажется странным. А если поразмыслить экономически? Не дадим себя во власть "социалистическому чувству", или старо-русскому, полубарскому, полумужицкому патриархальному настроению, коим свойственно безотчетное пренебрежение к торговле.

Всеми и всякими экономически-переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в них надобность для немедленного оживления народного хозяйства... Пока все, спасибо, товарищ...

Стенографистка вышла, у порога оглянулась на Ленина: в глазах ее было восхищенное недоумение. Так же посмотрел на Ленина и Дзержинский. Ленин заметил это, по лицу его промелькнула тень - то ли раздражение, то ли досада.

- Ну-те-с, Феликс Эдмундович, сколько времени вам потребовалось на то, чтобы перелопатить пятьсот профессорских страниц на ваш чекистский лад? - он посмотрел на часы. - Полтора часа? Сколько страниц законспектировали?

- Одну.

- Значит, четыреста девяносто девять - суть болтовня, словопрения?

- Отнюдь. Доклад хорош. Но я выписал следующее: из трех тысяч мостов разрушено две тысячи триста сорок; из пятидесяти тысяч верст железнодорожных путей взорвано и приведено в негодность одиннадцать тысяч; вместо сорока тысяч вагонов, надобных народному хозяйству, мы имеем в наличии восемь тысяч... Из двух тысяч инженерных должностей инженерами занято сорок две...

Ленин отошел к столу, просмотрел блокнот:

- Вы еще одно опустили: из семи тысяч складских помещений функционирует триста.

- Это где же? - удивился Дзержинский.

- На триста двадцать третьей странице, не курсивом, вни-

бу... И – последнее, Феликс Эдмундович... Этого в докладе нет. Мне из наркомпути сообщили, что мост через Оку под Серпуховым рухнет – не сегодня, так завтра. А в Москве запасов хлеба на неделю. Если мост не спасти – как, с чьей помощью, какими средствами – не знаю, Москва будет голодать.

– Я сейчас же поеду в транспортное ЧК, Владимир Ильич...

Ленин покачал головою отрицательно:

– Нет. Вы не поедете в трансЧК. Вы поедете в народный комиссариат путей сообщения, ибо вы назначены наркомом путей, товарищ Дзержинский. Сегодня утром этот вопрос решен опросно из Политбюро...

– Но...

– Да, да, все понимаю. Но я не знал, как быть председателем Совнаркома до октября семнадцатого, а вы не учились работе предЧК.

В дверь постучались.

– Да.

Вошел Чичерин.

– Здравствуйте, товарищ Чичерин, – Ленин пошел навстречу народному комиссару по иностранным делам. – Видимо, что-то срочное?

– Да. Пришли шифровки от Красина и Крестинского...

Л О Н Д О Н

Приёмная министра иностранных дел Великобритании Хорн. Хорн вышел из кабинета. Навстречу ему поднялся Красин.

– Здравствуйте, господин Красин, – сказал Хорн.

- Здравствуйте, господин министр, - сказал Красин.

- Премьер ждет вас, - сказал Хор, пропуская Красина перед собой.

Они прошли через несколько коридоров и из света спустились в темноту. Подземный ход вывел их в резиденцию премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа.

- Ведомство иностранных дел напрямую соединено с резиденцией премьер-министра? - усмешливо спросил Красин.

- А разве можно отделить Ллойд Джорджа от проблем внешней политики? - спросил Хор.

- И часто приходится совершать подземные переходы? - спросил Красин.

- Часто. Особенно в последнее время.

- В понятие "последнее время" вы вкладываете нашу внешнеполитическую активность? - спросил Красин.

- Н а ш у, господин Красин, н а ш у, - ответил Хор.

Ллойд Джордж поднялся навстречу Красину, пошел к нему с открытой улыбкой, пожал руку, пригласил к низкому столику, где стояли три чашки кофе и сухое печенье.

- Господин Красин, суть предложения кабинета его величества сводится к следующему. Понимая, что экономическое развитие Европы немыслимо без и вне включения России в эту - огромной важности - задачу, мы готовы нормализовать отношения с вами - при том, однако, условии, что Кремль опубликует декларацию, в которой будут признаны долги прежнего русского правительства. Второе. Я полагаю, что помощь Москве со стороны промышленно-финансовых групп возможна в том случае, если

проблеме русского транспорта будет отведено главенствующее место. Ваша страна парализована, паровозы не двигаются по рельсам. Мы не можем помогать трупу.

Ллойд Джордж заметил, как Красин напрягся.

- Я имею в виду технический термин, - легко пробросил Ллойд Джордж. - Остановившиеся паровозы, как вам известно, в Великобритании называют покойниками.

- Я достаточно хорошо знаю английский язык, сэр, - сказал Красин, - и просил бы точно выбирать термины.

- Будьте снисходительны к островному юмору, господин Красин, - усмехнулся Ллойд Джордж. - Мы будем готовы вдохнуть жизнь в покойника - я имею в виду экономическую структуру - в том случае, если ваше правительство признает определенную долю контроля промышленно-финансовых групп Запада над русскими железными дорогами.

- Такого рода условие несовместимо с понятием суверенитета, сэр. Неужели на Западе не понимают, что советская власть - это навсегда?

Ллойд Джордж взглянул на Хорна.

- Мы бы не хотели, господин Красин, вдаваться в философское исследование проблемы - что есть время и сколь оно быстротечно. Наши промышленно-финансовые группы хотят гарантий.

- А главная - контроль над железными дорогами страны? - уточнил Красин.

- Одна из гарантий, - ответил Ллойд Джордж.

- Будем считать, что такой гарантии нет и не будет, - резко ответил Красин, напряженно ожидая реакции Ллойд Джорджа: поднимется тот или нет. Ллойд Джордж, однако, продолжал

помешивать ложечкой кофе. Красин, чуть расслабившись, продолжил: – Однако, вопрос концессий на лес, нефть, уголь – на длительное время; размещение европейских капиталов в России – на длительное время; установление торговых связей – на будущее длительное время, – здесь, по-моему, мы можем найти поле для переговоров. А если нет... Что ж – без включения Советской России в систему европейского восстановительного процесса мы будем подниматься дольше. Но мы поднимемся, господин премьер-министр. Мы поднимемся.

Б Е Р Л И Н

Кабинет имперского министра иностранных дел Ратенау.

Министр долго, изучающе смотрел на представителя РСФСР в Германии, а потом сказал:

– Господин Крестинский, вы представляете Кремль у нас в Германии не первый месяц. Вы ставите вопрос о признании моим правительством Советской власти жестко, но вы должны понять и меня: мне очень трудно. И хотя я представляю людей, точно понимающих, что без сотрудничества Германии и России Европе не подняться, я обязан считаться и со Стиннесом, который против вас, и с Круппом, который против меня. А я обязан считаться с Ллойд Джорджем и Пуанкаре, которые продиктовали моей стране унизительные условия Версальского договора.

Крестинский спросил:

– Полагаете, что Антанта – в случае заключения соглашения между Берлином и Москвой – решится на интервенцию в Германию?

Ратенау пожал плечами:

— Скорее они решатся на то, чтобы устранить меня. Это сделать нетрудно, потому что рейхспрезидент Эберт не разделяет моей точки зрения, хотя он социалист, а я тяготею к конституционной монархии.

— Но ведь трагическая ситуация на германской бирже, безработица, падение марки, голод, — медленно говорил Крестинский, — все это понуждает Эберта искать выход.

— Выход можно найти, — тихо сказал Ратенау, — и это двоякий выход. Первый, который предлагаю я, — соглашение с вами.

— А второй?

— Кровопускание. Немцы однозначно реагируют на кровопускание, этого можно избежать лишь в том случае, если вы поднимете Россию, начав с транспорта. Тогда Эберту будет труднее с кровопусканием, а мне станет легче.

— Господин Ратенау, — приблизившись к министру иностранных дел, спросил Крестинский, — вы полагаете, что армия все еще достаточно сильна в Германии, чтобы устроить кровопускание и сорвать ваш курс?

Ратенау хрустнул пальцами:

— Да.

— Неужели Гинденбург и Гофман не научились ничему за последние годы?

— Армию научить невозможно, потому что определяют ее не солдатские шинели, но фельдмаршальские мундиры. А фельдмаршал, даже сдавшись, продолжает носить шпагу и золотые погоны.

МОСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ

Дзержинский медленно идет вдоль железнодорожных путей. Десятки мертвых паровозов. Сломанные железнодорожные пути. Тишина. Только где-то вдали слышно – чем ближе Дзержинский подходит – нарастающий шум, крики, вопли.

Он огибает состав: это – разбитые теплушки, частью обгоревшие, и видит поезд, вагоны которого штурмуют тысячи людей, бьют стекла, пытаются затащить мешки, передают через головы друг другу детей.

Дзержинский долго стоит в молчании. Лицо его было отрешенным, похожим на трагичную маску.

В А Р Ш А В А

По парку идут лидеры эсеров Чернов и Савинков, идут быстро, на ходу Чернов поясняет:

– Поскольку, Борис Викторович, нашими партнерами в беседе будут работники генеральных штабов, никакой лирики. Формулировки должны быть литыми, точными и краткими.

Савинков пожал плечами:

– И в лирику впадаю и проза, Виктор Михайлович. В деле я краток сугубо. Неужели, думаете, поспособствует?

Чернов искоса глянул на Савинкова, поднял воротник пальто:

– Всю свою ненависть к ним и сострадательную жалость к нам вы вложили в это унижающее нас – "поспособствует"?

В А Р Ш А В А

Отдельный кабинет ресторана. Полутемно. Слышна музыка.

Трое военных за столом: англичанин, француз и немец. Напротив – Савинков и Чернов.

Савинков заканчивал выступление:

– Таким образом, – говорил он, – если мы нанесем два – три удара по большевистской верхушке, если мы сможем срезать им голову, там, в Совдепах, начнется анархия. Ленин, Дзержинский, – лишь если два эти человека будут ликвидированы, – трудно себе представить, что начнется в Петрограде и Первопрестольной...

Один из военных недоуменно посмотрел на Чернова.

– Первопрестольной? – спросил он.

Савинков изменился лицом:

– Первопрестольной мы называем столицу России.

Чернов хрустко потер пальцы, посмотрел на генералов, стараясь сохранить на лице растерянно-улыбчивое выражение.

Один из генералов – тот, что был в английском френче – разлил вино по стаканам, посмотрел свой высокий бокал на свет, заговорщически улыбнулся Савинкову и спросил:

– Как вы себе представляете все дело практически? Видимо, вам потребуется помощь для подготовки групп, потребуются серьезные инструкторы. Они, кстати, у вас есть?

Чернов , закуривая, ответил:

– Если бы они были, мы бы к вам, генерал, на разговор не пришли.

Французский генерал заметил:

– Мы должны знать, в какой мере вы располагаете силой в России. Наша точка зрения – это лишь одна точка зрения, но ведь еще есть мнения дипломатов, торговцев, финансистов.

Например, вам отлично известно, что некоторые американские бизнесмены пытаются начать диалог с Кремлем. Более того, в Великобритании не при признании народный комиссар по внешней торговле Красин. Он, - хотя мы этого очень не хотим, - выходит на контакты с премьер-министром Ллойд Джорджем. Если мы будем поддерживать вашу идею, то мы будем, в какой-то, понятно, мере, выступать против официальных курсов наших правительств.

Савинков возразил:

- Это неверно.

Генералы переглянулись.

- Это неверно, - жестко повторил Савинков. - Советская Россия не признана ни Парижем, ни Лондоном, ни Берлином. Так что против своих правительств вы отнюдь не выступаете. Вы, - если решите начать финансирование нашего нового дела, - выступите против определенных групп в ваших правительствах. Но ведь группы в правительстве и самое правительство - суть разные понятия, не так ли?

Б Е Р Л И Н. ЗИМНИЙ КОРТ.

На закрытом корте в теннис играет высокий немецкий генерал, которого мы видели только что в парижском ресторане, с сильно сложенным седым человеком.

Крепко сложенный седой человек - Гуго Стиннес, один из ведущих промышленников, противник признания Советской России.

Генерал и Стиннес играли резко, увлекательно, никак не поддаваясь друг другу. Когда они закончили гейм, генерал, взяв под руку партнера, сказал:

- Все-таки характер промышленного магната накладывает на вас определенный отпечаток в спорте, дорогой Стивенс.

- Какой именно? - спросил Стивенс.

- Играете чересчур жестко.

Стивенс улыбнулся:

- Можно подумать, что характер армии учит податливости... Я продумал ваше предложение, - продолжал он. - В конечном счете, подготовка русских оппозиционных групп будет стоить тысяч сто, не так ли?

Генерал пожал плечами:

- Или около того.

Стивенс заметил:

- "Около того" - я не понимаю. В цифрах не бывает "около", генерал. Сто тысяч?

Генерал ответил:

- Тысяч сто пятьдесят. Нужно будет арендовать где-то за городом хороший лагерь, найти инструкторов, снабдить костюмами...

Стивенс мягко перебил его:

- Ну, это уже забота вашего помощника, детали не для нас с вами. Деньги я переведу на счет японского представителя. Пусть найдут хорошего конспиратора, если только остались. И мне, и вам, видимо, нет смысла напрямую связываться с русскими. Сколько времени они берут, чтобы внести реальный вклад в антибольшевистскую борьбу?

Генерал ответил:

- Месяц.

Стивенс поморщился:

- Нереально. И потом, что ж, я теряю больше чем сто

пятьдесят тысяч. Терял и миллионы. Попробуем.

Стиннес попрощался с немецким генералом, пошел в душ, п р о ф ы р к а л с я, перешел в массажную, лег на кушетку — его начал массировать крепкий, интеллигентного вида мужчина — Глазов его зовут, бывший генерал жандармерии, начальник Варшавской охраны.

— Меня очень интересует, что думают о будущем большевизма англичане, — тихо заговорил Стиннес. — Поэтому и просил бы вас передислоцироваться в Лондон, место для вас — в нужном мне месте — забронировано.

— Думаете, англичане пойдут на сепаратный мир с Кремлем.

— Не исключаю такой возможности. На меня — в случае, если я прав — не выходите, связывайтесь напрямую с великим князем Николаем Николаевичем, пусть он травит французов угрозой английского торгового договора с Кремлем. Представится возможность — отправляйтесь в Россию: мне надо знать точно, что там у них, сообщения дипломатов — чистые слюни. У вас, я понимаю, в России свои интересы, у меня — свои. Ваши интересы я, как и раньше, финансово подкреплю, а вот меня интересует: каково ныне положение тех, кто может возглавить промышленное и транспортное возрождение России. Инженерия, говоря точно. Кто у вас есть в том мире?

— Есть люди.

— Кто? Чертокина меня не интересует, как понимаете. А Гредине с Рамзиным и Николаевым интересуют.

— Николаев? Кирилл Прокопьевич?

— Да. Мостовик.

- К нему у меня есть подходы. Он - в глухой оппозиции.

- А у эсеров? У Савинкова?

Глазов брезгливо поморщился:

- Те только стрелять умеют, господин Стивенс.

Маленькая ферма. Берег озера. Лес.

Десять мужчин. Одна девушка. Любушка, молоденькая, бледная... Перед ними - мишени. На мишенях - Ленин. Они стреляют, положив левую руку за спину, резко выкидывая правую руку.

В стылом воздухе звуки выстрелов слышны далеко окрест.

Савинков, наблюдая за тренировкой, сказал спутнику:

- Что вы им людей ставите? Вы их на Ленина натаскивайте, на Ленина, товарищ дорогой...

<u>МОСКВА. КРЕМЛЬ</u>.

Красноармеец у Боровицких ворот берет под козырек: мимо него проходит Дзержинский, сворачивает к центру, идет мимо Александровского парка.

Второй красноармеец подходит к телефонному аппарату, снимает трубку:

- Товарищ Беленький, предчека снова один пошел в город.

Дзержинский минует Исторический музей - тишина, безлюдье, тьма.

Лицо Феликса Эдмундовича - в окулярах пенсне, близко-близкое.

Слышен хриплый, простуженный голос:

– Юзеф повернул к кассам предварительной продажи билетов, идет по-прежнему один.

Второй голос:

– Где Лиза?

– Ждет на подъеме.

– Пусть Зеленый бежит к ней, теракт проведем у Лубянки.

Дзержинский останавливается возле громадной очереди, которая толпится возле "Метрополя". Горят костры, в свете пламени видно, как измучены и голодны лица людей.

– Давно стоите? – спрашивает Дзержинский женщину с младенцем на руках.

– Третий день.

– Куда едете?

– К мужику. На Кубань, там, говорят, хлебушек есть.

– Спите где?

– А – нигде. У костров греемся...

Дзержинский прошел к кассам: дорогу ему преградил рослый мужчина в кожанке.

– Куда прешь?! – гаркнул он. – Покажь номер!

– А вы – кто? – поинтересовался Дзержинский.

– Уполномоченный.

– Чей?

– Очереди.

– Вы его уполномочили? – обернулся Дзержинский к людям.

– Так он здесь завсегда! – ответили ему. – Он знает,

кого надо сразу пустить, а кого подержать...

– Разговорчики! – снова гаркнул "уполномоченный". – А вы, граждане, дуйте отседа, пока я милицию не крикнул.

Из Боровицких ворот вышли секретарь предЧК Беленький и двое чекистов; огляделись. Дзержинского не было. Сели в поджидавшую машину, двинулись в центр, миновали "Метрополь", поднялись к Лубянке, вошли в ЧК. В кабинете Феликса Эдмундовича не оказалось.

<u>В КАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНИКА КАСС.</u>

– Я берегу билеты для литера, – говорил начальник, стоя перед Дзержинским навытяжку. – Совнарком может потребовать, наркоминдел, чека, цектран, наркомфин...

– Ну, и сколько же вы бережете для литерных? – спросил Дзержинский, мучительно растирая захолодевшую левую руку правой.

– Максимум, товарищ народный комиссар.

– А матери с детьми замерзают на улице?!

– Но ведь если кому из начальства билета не окажется, мне голову снимут...

– Кто?! Кто снимет вам голову?! Кто обладает правом на литеру? Сто пятьдесят человек – я сам список утвердил! Сколько у вас в наличии непроданных билетов?

– Я... Сейчас выясню... Я...

– Не лгать! Не лгать мне!

– Две тысячи триста...

– Если бы сейчас был девятнадцатый год, а не двадцать первый, я бы вас отдал под трибунал, – медленно сказал Дзержинский. – Пишите...

– Что?

– Сначала то, что я продиктую, а потом заявление об уходе с работы. Пишите. "Матерям с младенцами и раненым красноармейцам билеты продавать вне очереди". Через десять минут это объявление должно быть вывешено на улице...

– Так все ведь с младенцами и поедут. Феликс Эдмундович! Десятки тысяч, им ведь хлеб есть! А у меня два поезда в сутки! Да и то отправления ждут по десять часов – угля нет! Или машинисты в тифу... Или занос на путях...

ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ ДРЕЗИНЫ

Молоденькая девушка зябко кутается в платок. К ней подходит высокий мужчина в кожанке, тот, который угонял состав с хлебом, протягивает флягу:

– Глотни, Лиза. Сейчас он пойдет. Окликни его, цель в лоб, он у него большой. Ну-ка, покажи дуру...

Лиза вытащила из-под платка маузер.

Длинный проверяет, хорошо ли заряжен, возвращает девушке.

– Как только кокнешь – беги сюда; дверью, – он кивнул на маленькую дверь, которая вела во двор, – отворена, дальше маршрут знаешь, сиди у Моти и носа не высовывай, пока за тобой не придут наши.

УЛИЦА.

Дзержинский идет по улице, но не доходя до того подъезда, где стояла Лиза, свернул в особняк ВЧК, заметив в окнах зала яркий свет.

– Что случилось? – спросил он дежурного. – Почему в зале свет?

– Собрание, Феликс Эдмундович. Чрезвычайное происшествие разбирают.

В З А Л Е.

Дзержинский незамеченным вошел в зал, сел у двери на стул.

Выступал молодой человек с худым, изможденным лицом:

– Факт беспрецедентный, товарищи, и мы должны ударить Гусева так, чтобы другим было не повадно! И Токаревой мы такого не спустим! Ишь! Герои любовники нашлись! Он – оперативный сотрудник, она – стенографистка, а роман завели, как, понимаешь, Ромео и Джульетта! Ты скажи, Гусев, скажи нам открыто и честно: ты с Токаревой вступил в связь?! Скажи, скажи, голову-то не опускай!

– Я люблю ее, – тихо ответил Гусев.

– Любишь, понял, не любишь, это все выкрутасы прошлого! Вступил в связь или нет?! Может ты, Токарева, посмелее, а?!

Дзержинский слушал выступавшего внимательно, часто закрывая глаза, словно яркий свет мешал ему смотреть...

– Ну, Токарева! – продолжал между тем оратор. – Ты встань, ты посмотри всем нам в глаза! В стране, понял, разруха, контр-

революционная сволочь из-за угла стреляет, угоняет составы с хлебом, а она, понимаешь, в любовь играет с Гусевым. А ты, Гусев?! Ты посоветовался с ячейкой? А? Мол, тянусь к беспартийной, так и так, понял, испытываю влечение, подскажите, как быть... Не веришь, значит, товарищам? Спрятался? В индивидуализм, понял, впадаешь?!

Дзержинский поднялся:

– Как вам не стыдно, ну? – обратился он к оратору. –Что здесь происходит? Средневековое аутодафе? Как вы смеете п у б л и ч н о разбирать любовь?! Было нарушение служебного долга? Гусев и Токарева недопустимо вели себя? Манкировали работу? Революция и любовь – нераздельные понятия... А вы полицейщину развели, стыдно слушать, право...

Тихо стало в зале. Только слышно, как Токарева всхлипывала – молоденькая девушка с курносым носом и большими, круглыми, как у теленка, глазами...

ПОГОНЯ

Слышны шаги; все ближе и ближе они.

Лиза глянула в щель – Дзержинский шел быстро, весь устремлен вперед.

Она медленно спустила револьвер с предохранителя, шагнула на улицу, окликнула хрипло:

– Феликс Эдмундович...

Дзержинский остановился, глянул на девушку:

– Слушаю вас...

Лиза достала из-под платка револьвер, подняла его двумя руками, нажала курок.

Дзержинский отвернул голову...

Грохнул выстрел, второй, третий...

В Ч К

Лиза сидела в кабинете Артузова, сжавшись в комочек, отвечала безучастно:

- Можете убить - ни слова не скажу. Не скажу - и все, не скажу...

- Ваши приятели скажут...

- О, нет, они-то вам ничего не скажут, О, они не скажут ничего...

- Ни как вас зовут не скажут, ни откуда вы, ни где живете?

- Нет уж, о таком и не мечтайте, господин советский жандарм...

- Из этой вашей реплики я могу сразу же сделать вывод, - медленно сказал Артузов, - что вы принадлежите к эсеровско-меньшевистской группе. Когда меня допрашивали в царских каторжных централах, я тщательно следил за своими словами, в истерике уж, во всяком случае, не поддавался.

Вошел чекист, положил перед Артузовым листок бумаги.

- Вот, товарищ Артузов, тут все...

Артузов одел очки, прочитал:

- Елизавета Николаевна Щукина, девятьсот третьего года рождения, из дворян Льговского уезда, симпатии партии социалистов-революционеров, перешла границу семь дней назад возле Минска, явка, где скрывались, Вороновский, с ним, квартира Прокушина. А вы говорили, не признаетесь...

Лиза затряслась, по лицу ее потекли бессильные – по-детски еще крупные – слезы.

– Ненавижу вас, ненавижу, ненавижу...

– Думаете, я вас люблю – усмехнулся Артузов. – Одна беда – несовершеннолетняя, судить нельзя, дрянь этакую...

КВАРТИРА НА ВАРСОНОФЬЕВСКОМ

Чекисты тщательно обыскивают комнаты. Из полой стенки дивана достают лист бумаги, простреленный в нескольких местах. Разворачивают лист: это портрет Ленина, выполненный талантливо, мастерски, надо сказать, выполненный.

Артузов посмотрел бумагу, на которой был типографски напечатан портрет, сказал убежденно чекистам:

– Не в России печатали, у нас такой бумаги делать еще не умеют, труха у нас теперь, а не бумага, так что художника надо за кордоном искать, через него и на злокозненных хозяев выйдем...

МОСКВА. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

Огромное гулкое помещение театра. За столиком, освещенным настольной лампой, сидят Мейерхольд и Луначарский. На сцене – Маяковский. Он читает "Левый марш". Актеры окружают его – словно изваяние.

Луначарский смотрит на Маяковского влюбленными глазами.

Мейерхольд, однако, хмурится.

Луначарский заметил это, шепнул:

– Всеволод Эмильевич, неужели не нравится?

Мейерхольд ответил:

– Мне нравится, но он на сцене будет не один, он будет окружен актерами. А он выламывается из них.

– Но он – Маяковский.

– А я – Мейерхольд. За ним – читатели, за мной, помимо зрителей, что первостепенно, ясное дело, стоят актеры. Им – при всем поклонении Маяковскому – горько ощутить свою малость, разве не понятно? Без Фереа доктор Астров был бы меньше и однозначнее...

Мейерхольд закурил, хлопнул в ладоши:

– Владимир Владимирович, прорвемся! Спускайтесь к нам...

Но Маяковский со сцены не сходил – смотрел напряженно в зал: по темному проходу шел Дзержинский.

Феликс Эдмундович подошел к столику Мейерхольда, поздоровался со всеми, улыбчиво, изучающе посмотрел на Маяковского.

– Да, Феликс Эдмундович.

– Я испытываю трепетное отношение к дневному театру, когда идет репетиция, – заметил Дзержинский. – Однажды меня пригласили в Варшаву. Это было, по-моему, в десятом году. Тогда я понял всю прозрачность работы актера и режиссера, понял предшествие вечернего празднества.

Обернулся к Луначарскому, вздохнул:

– Анатолий Васильевич, а ведь про вас думу. – Посмотрел на Мейерхольда и Маяковского. – Не гневайтесь, ладно?

<u>КАБИНЕТ ДЗЕРЖИНСКОГО В ЧК.</u>

На стене укреплен портрет Ленина, пробитый пулями. Напротив портрета стоял Дзержинский, начальник контрразведки

Гане Артузов и Луначарский.

– Анатолий Васильевич, – сказал Дзержинский, – мне пришлось обратиться именно к вам. Как думаете, кто может т а к написать Ильича? Мы подняли всё, что у нас есть в Москве, Петрограде и Киеве, – такого художника мы не нашли.

Луначарский долго разглядывал простреленный портрет, потом снял пенсне, сунул в карман пиджака.

– Мне сдается, что это Лебедев, – сказал он. – С полгода как он уехал из России. Интересный, трагически интересный человек. Сдается мне, мы виноваты в этом: били его коллеги, а у нас защитить его руки не дотянулись.

– Он в Париже? – полувопросительно сказал Дзержинский, глянув на Артузова.

– Если мне не изменяет память – в Варшаве, – сказал тот.

– А как его можно было защитить, Анатолий Васильевич? – спросил Дзержинский. – От кого? Присаживайтесь, чай будем пить.

Они сели за стол. Луначарский пожал плечами:

– От кого защищать спрашиваете, Феликс Эдмундович? От многих. От голода и холода. От завистников, от нашей критики. Свобода, – следовательно полное самовыражение, полярность точек зрения, отсюда – ревность, уважительности к мнению других не научились еще: "если я прав, то, следовательно, ты – неправ"... Коли писатель еще как-то может отбиться, – да и ему трудно, сердце рвется, обескровленный он, – то живописец, как и музыкант, человек вообще совершенно особого свойства. Он мыслит образами. Он, если хотите, лишен языка в таком

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

смысле, в каком мы это хрестоматийно понимаем. И обида его совершенно другая, глубинная, я бы сказал, обида. Лебедева наши левые очень кусать начали за, как они говорили, классицизм, который чужд духу революции. Я пытался говорить с нашими художниками, пытался взывать к их дружеству, но индивидуальность колюча. Индивидуальность сугубо колюча, а уж левая — особенно.

— Правая — мягче? — спросил Дзержинский.

— Да очевидней тенденциозна, а потому — глупее. Это не так обидно.

— А что, Лебедев действительно был правым? Вообще — разве можно делить живописцев на левых или правых?

Луначарский сказал:

— Нельзя. Но ведь делят, Феликс Эдмундович, делят... Мое убеждение — Лебедев честный человек, и на потребу тем, кто стреляет, — он кивнул на портрет Ильича, — работать не станет.

ВАРШАВА. ХОЛЛ ОТЕЛЯ "БРИСТОЛЬ"

Слепят люстры, отражаясь в десятках громадных зеркал. Трещат кинокамеры, магниевые вспышки фоторепортеров. Идет пресс-конференция маршала Фоша, прибывшего из Парижа

Фош: Таким образом, господа, вопрос изоляции — любым путем, вплоть до военного — Советской России, есть мера чисто санитарная, необходимая для Европы, для ее будущего. Я, к счастью, никогда не был политиком, я горжусь тем, что являюсь маршалом Франции, и я повторяю: игры дипломатов мне не-

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

понятия, и человек – однолинейный: да, война, и – победа в этой последней войне против большевизма.

Журналисты сдержанно поаплодировали, Фош сел за свой столик.

Председательствующий: Господа журналисты, маршал Фош изъявил согласие ответить на ваши вопросы. Прошу...

1-й журналист: Господин Фош, ваше заявление кардинальным образом расходится с нынешней европейской тенденцией: люди устали от войн и жаждут мира...

ФОШ – Тогда пусть капитулируют перед большевиками.

2-й ЖУРНАЛИСТ: – Господин маршал, вы убеждены в победоносном исходе польской войны против Советов?

ФОШ: – Бесспорно.

3-й журналист: – Думаете, что разруха, царящая в Европе, безработица и голод, симпатия рабочих к Кремлю будут помогать вашей победе?

ФОШ: – Рабочий, призванный в армию, подчиняется уставу, за нарушение которого расстреливают.

4-й ЖУРНАЛИСТ: – Английский премьер Ллойд Джордж выступил за начало мирных переговоров с Россией. То же сделал министр иностранных дел Германии господин Ратенау...

ФОШ: – Англия – островная держава, Ратенау – представитель побежденной страны, чего вы от них хотите!?

5-й ЖУРНАЛИСТ: – Четыре года войска Антанты поддерживали белое движение. Они оказались изгнанными из России, господин Фош.

Переводчик Фоша: – Я плохо понимаю ваш польский язык.

Говорите, пожалуйста, на своем родном языке, пане... Вы немец?

3-й ЖУРНАЛИСТ: - Я - русский.

ФОН: - Красный, конечно же?

3-й ЖУРНАЛИСТ: - Нет. Стремящийся быть объективным - всего лишь.

В зале - нарастающий шум. К журналисту устремляются трое молодчиков в штатском. Подталкивая, выводят из зала.

В вестибюле его заводят в комнату администратора:

- Ваши документы.

Журналист отвечает:

- У меня здесь нет бумаг. Моя фамилия Сладкопевцев, я - эмигрант, пишу для вечерней газеты. А в чем дело, господа?

- Где ваш пригласительный билет?

- У меня нет никакого билета, меня послала редакция...

- Сначала выучите язык, а потом приходите на пресс-конференцию, пан Сладкопевцев...

- Это - демократия, да? - горестно усмехнулся Сладкопевцев.

- Поменьше болтайте, москалики, а то мы вас поучим демократии в другом месте, - ответил один из молодчиков, - идите отсюда подобру... И рубашку стирайте почаще...

Сладкопевцев вышел под дождь, на пустынную улицу, отправился в Старе Място, зашел в ресторанчик; стоят аккордеон и скрипка; посетителей нет, пусто.

Хозяин, увидав Сладкопевцева, покачал головой:

- Всё, пан Сладкопевцев, всё! Сначала расплатитесь с долгом, тогда я пущу вас...

Сладкопевцев достал из кармана серебряные часы, протянул их хозяину.

Тот раскрыл крышку:

– Павел Буре? Хорошая вещь...

Открыл "тыльную" крышку, увидел фотографию, одел очки:

– Кто это?

Сладкопевцев взял фото: он и Дзержинский – молодые, фото девятьсот второго года, когда вдвоем бежали из ссылки, и Дзержинский жизнь ему спас.

– Это я с другом, – ответил он и вдруг начал смеяться. Смех его перешел в истерику, аккордеонист и скрипач прервали игру. Хозяин плеснул в стакан водки:

– Выпейте, Сладкопевцев... Выпейте, это "житня"...

Он дождался, пока Сладкопевцев выпил, вернул ему часы и легонько подвел к выходу, дверь даже сам открыл, словно к л и е н т у...

На рынке Старого Места, под фонарями, стояли художники. Один из них отделился, подошел к Сладкопевцеву:

– Здравствуйте, Сладкопевцев...

– Здравствуйте, Лебедев... Что ночью-то здесь делаете?

– Бывает, туристы приезжают, заказывают на портрет...

– Слушайте, – сказал Сладкопевцев, достав свои часы, – сделайте пробную минутную стрижку, а? Три грамма чистого серебра... Кто бы из ваших клиентов купил стрижку за хорошую цену?

– Клиентов нет, красок нет, будь все проклято... Вы куда?

Сладкопевцев странно усмехнулся:

– Топиться.

И – не попрощавшись, ушел в ночь, а Лебедев вернулся к фонарям, где у стены стояли его рисунки, прикрытые клеенкой.

И в это время подъехали к художникам – не российских, декоративных эмигрантов – туристы, по всему видно, французы.

– Алло, месье, алле, – зазывал их Лебедев к своим картинам.

Зазывал неумело, ненавидя, видимо, самого себя за это унижение.

Какая-то старуха спросила его, сколько будет стоить портрет.

Лебедев ответил:

– Двадцать франков.

Старуха усмехнулась, отошла.

Лебедев двинулся за нею униженно:

– Десять, мадам, десять...

Француженка что-то сказала своим спутникам, – те посмеялись.

Лебедев вернулся к мольберту, сел на скамеечку рядом. Кепка была его перевернута как у нищего – "дном" вверх. Он увидел, как в кепку его упала бумажка: 10 злотых. Он поднял глаза. За ним стоял высокий плечистый человек (мы потом еще встретимся с ним, это – шифровальщик из ЦК эсеровской партии Протопопов).

– Что, Николай Николаевич, – вздохнул Протопопов, – не-

вать хочется? Кто поможет-то, как не свои? Пошли, дело есть...

Пошли.

А следом – молодой малый, рыжий, высокий, идет себе , витрины разглядывает...

В маленьком сарайчике, с одним окном, куда пришли Лебедев с Протопоповым, было холодно. Несколько плиток прессованного торфа лежали около печки. Лебедев затопил печку, погрел над ней руки.

Протопопов, не снимая пальто, присел на краешек стула:

– Двести злотых мы вам уплатим за хороший портрет Дзержинского. Только больше, чем ленинский. Сможете сделать к завтрашнему дню?

Лебедев посмотрел на Протопопова изучающе, безразлично сказал:

– Триста, господин Протопопов.

Протопопов даже не понял сначала:

– Что?

– Триста злотых, говорю.

– Николай Николаевич, вы же ведь и за двадцать напишете,– усмехнулся Протопопов и отсчитал пять бумажек. – В пять часов я завтра приду. Договорились?

...Протопопов вышел из сарая, где жил художник Лебедев, двинулся по вечерней улице. А следом за ним, по другой стороне улицы, шел тот же молодой рабочий парень. Он и довел Протопопова до того дома, где находилась конспиративная квартира ЦК партии эсеров, и сел в трамвай.

ВАРШАВА. КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА ЦК ЭСЕРОВ.

Здесь, в большой комнате, совещание представителей всеровских организаций.

Чернов, ведущий совещание, улыбчиво глянул на Савинкова:

- Начнем, товарищи? Прошу - ничего не попишешь - предъявить пароли.

Первый представитель сказал:

- В Харькове дождит, но солнца ждут все.

- Запасной пароль? - спросил Савинков.

- Лицо ближнего скрыто туманом.

- Спасибо, товарищ, - сказал Чернов, - привет харьковцам.

Поднялся второй представитель:

- Орлы боятся ночи, в которой хорошо живем...

- Запасной? - спросил Савинков.

- Низкий бас лучше тенора в годину битв...

- Спасибо, - сказал Чернов, - приветствуем нашего берлинского товарища.

Поднялся третий:

- Лучший способ борьбы - атака.

- Запасной, - спросил Савинков.

- Мне не дали запасного пароля. Я - Пронин из Таллина...

Чернов стремительно глянул на Савинкова.

- Совещание прерывается, - сказал Савинков. - Вы, надеюсь, понимаете нас, товарищ Пронин? Мы обязаны проверить все.

К Пронину подошли двое громил.

- Это товарищи... - пояснил Савинков. - Леня и Вася. Они побудут с вами, пока мы предпримем свои шаги.

Ваня и Коля пропустили Пронина перед собою. Пронин оглянулся, как-то странно усмехнулся, пошел к двери, прикрыл за собой дверь.

Чернов дождался, пока захлопнули входную дверь, и обратился к сотрудникам:

- Никто ушел с Прониным по потребованию?

- Нет, никто.

Чернов достал из кармана маленький тонкий блокнотик, опустился на стул, набросал текст, прочитал его. "Утечка, ИК, весьма срочно. Почему Пронину не был дан второй пароль, как обговаривалось? Кто в Берлине может сообщить Пронину? Немедленно подробности. Связывайтесь по берлинскому каналу. Чернов".

Чернов обвел глазами сотрудников:

- Дополнений не будет?

Представитель из Берлина ответил:

- По-моему, сформулировано все точно, Виктор Михайлович.

Чернов поморщился:

- В комплиментах не нуждаюсь. Дело-то странное. И тревожное, именно он и. Интересно? Дополнений, корректировок ни у кого не будет?

Берлинский представитель ответил:

- Да нет, дело тут не в комплиментах, Виктор Михайлович. Составлено точно, добавить нечего.

Чернов стремительно поднялся со стула, прошел вдоль комнаты, остановился возле двери, нажал кнопку звонка. Позвонил в звонок. Дверь открылась. На пороге стоял Протопопов, за ним в полутьме виднелся радиоаппарат. Чернов протянул листочек из блокнота, сказал:

- Пожалуйста, зашифруйте и отправьте немедленно.

Повернулся было, но Протопопов окликнул его:

- Товарищ Чернов, покажите ваш блокнот.

Чернов усмехнулся:

- Да, да, конспирация... Спасибо. - Вырвал три листочка, на которых могли остаться оттиски от карандаша, протянул Протопопову. Тот закрыл дверь.

Чернов вернулся в комнату, где его ждали представители всех эсеровских партий, разбросанных по миру, и сказал:

- Ну, что ж, перенесем заседание. Без Пронина, если он действительно Пронин, нам нет нужды разговаривать, потому что переправлять людей по моему плану, - он быстро поправился: - по плану ЦК, мы должны, в основном, через Эстонию. Я думаю, что завтра-послезавтра все станет ясным. До свидания, товарищи.

По Берлину среди солнечного птичьего гомона, шума, по маленьким улочкам шел Пронин, тесно зажатый "Васей" и "Колей". Один раз он остановился. Вася тут же изменился лицом, обернулся к Пронину и стремительно прижал свою руку с острым стилетом к его боку.

Пронин хмыкнул:

- Браток, ты, я гляжу, из нервных. - Он достал из кармана мятую пачку "Житана", закурил, протянул Коле: - Хочешь?

Тот покачал головой:

- Берегу здоровье.

Пронин обернулся к Васе:

- А ты?

- Здоровье берегу, - ответил тот.

И они двинулись дальше.

Возле площади Пронин остановился, вопросительно посмотрел на своих провожатых.

Вася сказал:

- Налево. Или вы забыли свой адрес?

- Помню. А ты молодец, Варшаву хорошо знаешь. Так бы Москву помнил. Помнишь?

- Во сне вижу, - ответил Вася. - И всю как голенькую, будто бабу. Помню.

- Э-эх...

Толкнули дверь маленького пансиона, поднялись на третий этаж. Консьержа внизу не было. Они поднялись по темной скрипучей деревянной лестнице. Пронин достал ключ, открыл входную дверь. В коридоре было темно; он ударился обо что-то ногой, громко выругался:

- Черт возьми! Осторожней, себе головы не посворачивайте, страннички.

Вася прошептал:

- А громко так зачем?

- Здесь громко, тихо - никто по-русски не понимает. Пошли.

Шли чиркая спичкой. Пять дверей. Гробовая темнота.

Пронин отворил дверь, вошел первым в комнату. Маленькое окно выходило во двор-колодец. Кровать железная, будто бы детская, так узка, рядом - маленькая кушетка, туалетный столик. Всё.

- Ну, располагайтесь, - сказал Пронин и снял кепи. -

лично и посплю, если не будет возражений. Три ночи глаз не смыкал...

Пронин легко сбросил ботинки, лег на кровать.

Коля достал пистолет, взвел курок, сел на кушетку, пистолет положил рядом с собой. Потом взял стул, подвинул его к окну, пистолет положил на подоконник. Из другого кармана достал книжку. Коля, наблюдая за тем, как Пронин повернулся к стене, подложив под щеку — словно ребенок — щепотью сложенные ладони, сказал:

— "Если кто постучится из твоих друзей, ответь: "войдите".

— "Войдите" тут не поймут. Надо "антре" говорить, — ответил Пронин.

И тут в дверь постучались.

Пронин открыл глаза и сразу же увидел лицо Дзержинского. Оно было рядом, близко. Глаза Феликса Эдмундовича зеленые, красивые смотрели на него в упор.

— Иван Васильевич, — сказал Дзержинский, — задача перед вами сугубо трудная. Я бы сказал — смертельно трудная. Савинков и Чернов в терроре с девятьсот третьего года. Эсеры называют себя преемниками "черного передела". Цель у них прекрасная: достоинство врага унижать нагло, свое возвышать. Легенда вам подготовлена хорошая. Ею занимался Артузов. Документы вполне надежны. Задача: в течение недели, не более того, после совещания у Чернова, наладить контакт и с кадетами, и с группами анархистов, и с националистами-петлюровцами, и с прочей сволочью, и привезти документы, которые

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

позволит вам предпринять свои шаги. Мы очень заинтересованы в том, чтобы ваша миссия была успешной. Если те данные, которые дошли до нас – разрозненные, не проверенные еще, – подтвердятся, это будет победа революции. Вы готовы ехать в Варшаву? Готовы к этому риску, повторяю – смертельному?

Лицо Дзержинского приблизилось еще больше. Пронин шевельнулся с кровати, откашлялся, поглядел на Васю, который по-кошачьи подошел к двери, зажав пистолет около бока, и сказал:

– Антре!

Дверь легко распахнулась.

Вася, стоя по-прежнему наизготовке, прикрыл руку с пистолетом книжечкой (Пронин успел заметить название книги – "Учебник французского языка для 5-го класса"). На пороге стояла молоденькая девушка, одетая вульгарно, так, чтобы эта вульгарность еще больше подчеркивала ее женственность, доступную и зовущую.

– Я могу просить у вас сигарету? – спросила девушка.

– Нет, у меня нет сигарет, красоточка, – ответил Пронин.– Здоровье берегу.

Вася вышел из-за двери.

– Зачем неправду говоришь красоточке? Дай сигарету, "Житан" – то у тебя есть.

Пронин ответил:

– Ты мне потом за сигаретами шпика побежишь? Или друг-приятель? Или меня самого пустите? У меня всего шесть штук, отсчитанные. – И он повторил: – Нет, птичечка, сигарет. – Он

говорил по-польски с ужасным произношением, но гуманно. – Спуститесь вниз, – продолжал он, – на углу в кафе можно взять. Они по воскресеньям работают. Это я с прежних раз помню. Пан Вацлав, он добрый. Иди, моя хорошая. И дай тебе господь счастья.

Когда девушка закрыла дверь, Вася спросил:

– Кто такая?

– Соседка, видимо, – ответил Пронин.

– Это понятно, что не Мария-Антуанетта, – сказал Вася.– Кто такая?

– Девка. Двадцать злотых за час.

Т А Л Л И Н.

Чайки носятся в высоком холодном северном небе.

Зензинов, один из руководителей правых эсеров, долго следил за полетом чайки, потом отошел к окну, еще раз прочитал шифрограмму Чернова. Задумчиво посмотрел на своего сотрудника, закурил.

– Что касается варшавского пароля, подпишите документы и решите с Гермельманом. Он готовил посадку Пронина. И отправьте Виктору Михайловичу телеграмму. По-моему, он стал каждого куста бояться, на воду дует.

Сотрудник позволил себе улыбнуться, заметив:

– Чем дальше от совдеповских границ, тем больше страхи мерещатся.

Зензинов ничего не ответил. Ни один мускул на сеченом худом его лице не дрогнул.

– Пишите: "Пронин может опознать Савинковцев, они в

девятьсот седьмом был в ссылке. Сладкопевцев проживает в Варшаве, является в районе Воли. От всякого движения отошел, однако, по отношению к большевикам непримирим. Знаменов, член дела".

<u>Д Е П О.</u>

Дзержинский идет в окружении рабочих и машинистов мимо паровозов - мертвых, холодных.

- Сколько на ходу? - спрашивает Дзержинский.

- Из семидесяти - девять, товарищ нарком. Остальные в ремонте.

- Когда кончится ремонт шестидесяти других?

- А кто знает...

- То есть как это "кто знает"?!

- Инженеров - нет, у рабочих зарплата низкая, товарищ нарком, интереса нет к труду...

- Ну, а если на хозрасчет? Премия за качество и скорость ремонта?

- Тогда, понятно, двинулось бы дело... Только металла нет, болтов нет, поставщики ничего не дают...

- А если их заинтересовать? Платить им - тоже с качества и скорости?

- Нельзя.

- Почему?

- Посадят. Закона такого нет. Копейку велят контролировать.

- Контролировать копейку надо, - поморщился Дзержинский,-

для этого не следует платить щедро — за хорошую работу, понятно. Свыше дохода — разоришь хозяйство... Скупердяйством по рабочему человеку государственного капитала не нарастишь; наоборот, останешься пустым по ветру...

Сколько в мастерских рабочих?

— Триста.

— Средний заработок?

— Четыре миллиона в месяц, двадцать рублей по-старому...

— А если держать двести рабочих, а платить каждому по двадцать миллионов?

— За полгода бы тогда все паровозы наладили, — убежденно ответил старый рабочий.

К Дзержинскому — чуть не бегом — подошел Артузов; отозвал в сторону; дал прочитать шифровку.

Дзержинский нахмурился:

— Я просил бы в течение часа проверить легенду Пронина: нет ли ошибок, все ли было отработано точно. Второе: кто в Варшаве или Берлине может знать настоящего Пронина, того, который сидит у вас. То есть, кто в Варшаве, Берлине или Таллине может опознать Пронина в течение сегодняшнего дня, минимум — завтрашнего утра. Чернов уже наверняка предпринял свои шаги. Счетчик включен. Времени у нас минимум-миниморум.

<u>МОСКВА. ЧК.</u>

...По длинному тюремному коридору идет настоящий Пронин в сопровождении двух конвоиров-чекистов. Поднимается по этажам, входит в кабинет к Артузову.

- Садитесь, - сказал Артузов. - Садитесь, Пронин.

- Благодарю.

- Слушайте меня внимательно, Пронин. Если вы, убежденный борец, и решили биться с нами до конца, я это могу понять. Борьба есть борьба. Историческую правоту каждого определит время. Но дело заключается в том, что вместо вас в Варшаву поехал наш человек. Почему вы, сказав нам все, ничего не сказали про запасной пароль для дублера?

- У меня не было второго пароля, - ответил Пронин.

- Повторяю: борьба есть борьба. Но если в результате того, что вы, решив драться с нами, подвели под пулю нашего товарища, который поехал в Варшаву вместо вас, с вами вопрос кончен. Трибунал снисхождения знать не будет.

- Повторяю, - устало сказал Пронин, - я отдал вам всё. Гермельман дал мне пароль, дал документы, они у вас; дал явки, я вам все их записал. У меня второго пароля нет.

- Где живет Гермельман?

- В Таллине. Улица Тоомпеа, 4, второй этаж, налево.

<u>НОЧЬ. МОСТ ЧЕРЕЗ ОКУ</u>.

Трое в кожанках, - те, которые угоняли эшелон с хлебом, - быстро идут по мосту.

Часовой преграждает им путь.

- Стой, кто идет?

- Свои!

- Пароль?

- Чи, какой пароль?!

- СТОЙ, НИ С МЕСТА! - крикнул часовой.

Один из трех резко взмахнул рукой – стремительно белой рыбкой клинок вонзился в грудь часового.

МОСКВА. КРЕМЛЬ. КАБИНЕТ ЛЕНИНА.

Ленин и Дзержинский.

– А чего вы хотите? – усмехнулся Ленин, бросив на стол фотографию своего простреленного портрета. – Мы для Антанты – никто, они нас не признают, посольств не имеют. Вот если заставит жизнь признать – тогда можно будет ткнуть носом, как котят в подобного рода дикарство и глупость. Странные люди: они полагают, что с уходом Ленина кончится Советская власть...

– Я думаю, что если мы получим улики, Владимир Ильич, Наркоминдел крепко ударит и Лондон, и Париж...

– Ну, к ударам вербального свойства они люди привычные, а вот если мы сможем достойно высказать свою пренебрежительную снисходительность по поводу акции, проведенных "товарищами социалистами-революционерами", если мы докажем, что выступают они в роли волов, которых ведут на бойню дурные коровы с колокольчиками – это, конечно же, им на пользу, задумаются, люди престижные, полагают, что делают политику, а на самом-то деле плетутся в хвосте у империалистов, ни черта не понимающих в вопросах государственных отношений... Мы к ним террористов не посылаем, мы против террора всегда выступали. Впрочем, они в нашей истории дурни-дурнями; "Россия, тьма, азиатчина", куда уж им, великим европейским державам, нашу историю изучать. Кровавые большевики, – раздраженно заключил Ленин, – постоянно выступают за мирные переговоры между двумя

водным собственности, а цивилизованнейшие европейцы шлют в Америку солдат-наемников с пистолетами, очень демократично... Ладно, сие — сотрясение воздуха — до тех пор, во всяком случае, пока у вас нет данных — кто, откуда, сколько платит, кому. Что с мостом? Ваше предложение по Наркомпути?

— Мост был в аварийном состоянии уже в конце правления Керенского. Я нашел в архиве записку товарища министра путей сообщения генерала Борисова по этому вопросу.

— Где он сейчас?

— Продает свою библиотеку, сидит дома, костит нас почем свет стоит.

— Ну, это — пожалуйста, говорить можно что угодно, важно, чтоб не поднимали оружия и не саботировали, сидя на должности...

— А мне уже пятый раз на него ордер подсовывают — "арестовать контру".

— Ежели вы говорунов начнете сажать, в России тюрем не хватит. Говорун — явление милостивое, это не враг, вовсе не враг; тот — молчун, действует противно многословию. Этот Борисов специалист по мостам?

— Он лучший путеец России, Владимир Ильич.

— Почему бы не положить ему оклад в тысячу рублей золотом? Почему не попросить возглавить управление? Отчего не дать пайки и хорошую медицину? Из квартиры, понятно, турнули?

— Никого, нет. Дворники воспротивились: "был хорошим барином, не унижал".

— Тоже, кстати, показатель. Так отчего ж он не у дел?

— Он про меня говорит: "Малюта Скуратов, кровавый Робеспьер, Кромвель", а про вас и того хлеще.

[illegible]

- Ну и бог с ним, пусть!

- Думаю, без вашей помощи его не уговорить, Владимир Ильич...

По ночным улицам Москвы (прохожих нет, освещения тоже) несется аэропланоподобный "Линкольн" Дзержинского. В нем - зажатый двумя чекистами - сидит старик в генеральской шинели без погон. Это - Борисов.

Машина въезжает в ночной Кремль.

Ленин поднялся навстречу Борисову. Тот, оглядевши кабинет и не найдя иконы, достойно перекрестился на "красный угол".

- Здравствуйте, Иван Николаевич. Простите, что вас пришлось поздно потревожить.

- Если я не ошибаюсь - гражданин Ленин?

- Не ошибаетесь. Познакомьтесь - Феликс Эдмундович Дзержинский.

Дзержинский протянул Борисову руку. Тот спрятал руки за спину, глаза его сузились.

- Очень не любите Советскую власть? - спросил Ленин.

- Очень.

- Но вы, как инженер, то есть человек, оперирующий данностями, согласны в том, что Советская власть - единственная власть в России?

- Увы, молю бога, чтобы она поскорее кончилась в многострадальной России.

– Хотите прежнюю вернуть? Царскую? – спросил Дзержинский.

Не повернувши головы к Дзержинскому, Борисов – после паузы – ответил:

– Нет, царской не хочу.

– Почему же? – живо поинтересовался Ленин.

– Потому что мне противны коррупция, тупость, бюрократия... Впрочем, царская бюрократия не многим лучше нашей, коммунистической ...

– Совершенно верно, – согласился Ленин. – Более того, наша коммунистическая бюрократия страшнее царской, чудовищней, порочней.

Борисов подался вперед.

– Это как? – изумленно спросил он.

– Да так. Из нашего коммунистического бюрократа, чванливого идиота должны судить и делить, двадцать раз строже прежнего бюрократа – ну, вашего типа, бюрократа – простите за резкость, Иван Николаевич.

– Я строитель, а не бюрократ. Главными врагами строителей в царской России были бюрократы. Они-то и довели дело до революции.

– Полагаете – одну? – усмехнулся Ленин. – Присаживайтесь, чай будем пить.

– Благодарю.

Они сели за столик. Борисов искоса посмотрел на Дзержинского, отодвинул свой стул от него – поближе к Ленину. Ленин и Дзержинский переглянулись, улыбнулись друг другу.

– Так вот, по поводу бюрократов и строителей, – отхлеб-

щую чей, продолжал Ленин. - Коль скоро мы с вами уговорились, что пока существует Советская власть и, - продолжал Ленин,- что я обещаю вам твердо, существовать будет долго, в с е г д а будет существовать в России, не хотелось бы вам, Иван Николаевич, осуществить те ваши проекты, кои мешала осуществлять царская бюрократия?

- Мечтал бы, но ведь вы не научены строить, - разрушать научены.

- Да и разрушать-то не научились толком, Иван Николаевич, - вздохнул Ленин. - А уж если серьезно разрушали, так по необходимости, а-бы Деникина с Колчаком в Москву не пустить, взорвали. Так вот, коли вы любите Россию, если дорого вам будущее народа, почему бы не попробовать строить? Да - вместе с нами. Что же делать, есть такая данность - большевики, есть такая власть - советская.

- Что я должен строить? - спросил Борисов.

- Железные дороги, - ответил Ленин.

- Это как? Заключите меня в концентрационный лагерь и заставите махать лопатой?

- Нет, - сказал Дзержинский, - я вношу вам предложение: стать начальником управления Народного комиссариата путей сообщения.

- А я не понимаю, что такое Народный комиссариат, - ответил Борисов, - я не признаю эти самые ваши наркоматы. Министерство - понимаю. Департамент - это ясно.

- А говорите, что против бюрократии! - рассмеялся Ленин.- Так вот, я бы даже пошел дальше Феликса Эдмундовича. А что,

если вам стать заместителем Дзержинского? Заместителем народного комиссара путей сообщения?

- Гражданин Ленин, я не люблю ваше правительство, не разделяю ваших идей, естественно, не люблю вас, хотя отношусь к вам с уважением. Поэтому сразу же возникает вопрос: ну да, ну, допустим, я решусь помогать моей многострадальной Родине - вами замученной. Но это же будет глас вопиющего в пустыне. Что я могу - один?

Дзержинский чуть склонился к Борисову:

- Иван Николаевич, а кто бы мог придти вместе с вами в Наркомат?

- Те же, кто мог бы придти со мною, сидит в ваших тюрьмах, расстреляны вами.

- Кто именно? - спросил Дзержинский. - Вы достаточно четко определили свою позицию, все разложили по полочкам - есть такое выражение, на Сухаревке услышал, там, где вы книги продаете... Кто именно сидит в м о и х тюрьмах?

- Прекрасный путеец Кирилл Прокопьевич Николаев - к примеру.

Дзержинский стремительно поднялся:

- Владимир Ильич, извините, пожалуйста, могу я выйти в секретариат - надо связаться по телефону.

- Да, да, - ответил Ленин, - ждем вас.

Дзержинский вышел из кабинета в приемную, подошел к телефонному аппарату.

- Лидия Андреевна, - обратился он к Фотиевой, - позвольте?

- Конечно.

Он снял трубку:

- Пожалуйста, адресный стол ВЧК. Добрый вечер. Дзержинский. Если установите его местонахождение, он должен быть доставлен - с извинением за поздний визит - в Кремль.

КАБИНЕТ ЛЕНИНА.

Открылась дверь: на пороге стоял Кирилл Прокопьевич Николаев.

- Господин Николаев! - воскликнул Борисов и бросился к Николаеву. Они обменялись крепким рукопожатием. При этом Николаев то и дело поглядывал на улыбавшегося Ленина; Дзержинского он не видел, тот стоял у стеллажа, за его спиной.

- Читал ваши речи в Думе против нас, - сказал Ленин, подходя к Николаеву. - Очень сердито изволили говорить, Кирилл Прокопьевич. Давайте знакомиться, Ленин.

- Очень приятно, Николаев.

- "Очень приятно"? - рассмеялся Ленин. - Да здравствует парламентаризм! Прошу к столу...

- Здравствуйте, Кирилл Прокопьевич, - негромко сказал Дзержинский.

Николаев стремительно обернулся:

- Феликс Эдмундович!

Дзержинский шагнул к нему, широко улыбаясь, пожав руки, они обнялись.

Борисов изумленно посмотрел на Ленина; тот недоуменно пожал плечами.

– Кирилл Прокопьевич Николаев, – пояснил Дзержинский, – в тысяча девятьсот втором году спас мне жизнь, а в революцию пятого года ссужал партию деньгами.

– А в девятнадцатом году за это, – гулко прохохотал Николаев, – был брошен в острог петрочекой... Сидел в одной камере с министром путей сообщения Ливеровским – вместе посмеялись над нашими дореволюционными проектами...

– А где, кстати, Ливеровский? – спросил Дзержинский. – Его же отпустили под честное слово.

– Он в Ялте, Феликс. Смотритель маяка, – ответил Николаев. – Где ж больше профессору работать?

– Спецедство – болезнь горестная, – сказал Ленин, – но объяснить ее можно: интеллигенция отшатнулась от революции, чего ж вы хотите от неграмотного мужика? Он – обидчив, сие – сугубо понятно.

– По одежке приучены встречать, – заметил Николаев. – Коли в шубе и калоши кожаные – значит, барин и контра. Правда, будь ты Станиславский или Горький, и шубу енотовую поймут, и фрак: знаменитостям россияне все прощают.

– Однако, я совершенно ошеломлен происходящим, господа, – сказал Борисов и не сразу понял, отчего Ленин, Дзержинский и Николаев так дружно рассмеялись. Потом догадался: – Что, прикажете товарищами вас величать? Они меня в товарищи зовут, Кирилл Прокопьевич, просят стать заместителем гражданина Дзержинского.

– Соглашайтесь, – сказал Николаев. – Хоть один наш человек будет в ЧК.

– Речь идет о Наркомпути, Кирилл.

– А вам, как мы договаривались двадцать лет назад, – сказал Дзержинский, – я предлагаю должность начальника Октябрьской дороги.

– Это какая такая Октябрьская? – ершисто спросил Борисов.

– Это Николаевская, – ответил Николаев, изучающе разглядывая знаменитое лицо Дзержинского. – А я смогу обратить стрелочников в первобытное состояние?

– То есть как? – не понял Ленин.

– Речь, видимо, идет о том, – ответил Дзержинский, – чтобы отрешить дорожных сторожей и стрелочников от занимаемых ими ныне должностей начальников служб движения, не так ли, Кирилл?

– Именно так.

– Многотрудный вопрос, – откликнулся Ленин. – Люди поставлены были к руководству, когда вы нас игнорировали.

– Владимир Ильич, наш гость, увы, прав: умных стрелочников надобно сразу же направлять на учебу, но ведь множество горлопанов сели в кресла, компетентности ни на грош, а претензий – тьма; транспорт – наука, без науки с места не сдвинемся, – сказал Дзержинский.

– Вопрос вопросов – как уберечь революционеров от тех дворцов, которые они реквизировали у эксплуататоров, – задумчиво сказал Ленин. – При этом принцип незыблем: кухарка должна научиться управлять государством, иначе незачем было нам огород городить...

– А как платить рабочим? – продолжил свое Николаев. – Только тот оклад, который разрешил комиссар? Или так, как платил я?

— А как платили вы? — спросил Ленин.

— Хорошему рабочему — столько, сколько попросит, никаких потолков, никаких ограничений. Разгильдяя — за ворота, взашей!

— По вашему, разгильдяйство — это нечто врожденное? — спросил Ленин. — Его можно переломать?

— Нельзя, — убежденно ответил Николаев.

— Можно, — одновременно с Николаевым сказал Борисов.

— Вот и договорились, — усмехнулся Дзержинский. — А сейчас едем на вокзал, там мой вагон готов, отправимся в Серпухов.

— Что, мост окончательно развалился? — спросил Борисов.

— На-днях рухнет, — ответил Дзержинский.

<u>МОСТ ЧЕРЕЗ ОКУ</u>.

Трое запалили бикфордов шнур — поползло пламя.

Тяжело ухнул взрыв.

Ферма обрушилась в реку...

<u>ВАГОН ПОЕЗДА</u>.

Дзержинский, глубоко затягиваясь самокруткой, говорил Борисову и Николаеву:

— Мне нужно понять предмет организации торговли на транспорте, выяснить разницу между капитальным и средним ремонтом, смысл коммерческой скорости. Я должен точно уяснить смысл коэффициентов и измерителей. Я понимаю, что мы сможем вытащить наш железнодорожный транспорт из кризиса только в том случае,

если взашей погоним бюрократов и сможем поставить железнодорожный транспорт на хозрасчет. Мы намерены премировать золотом за выполнение плана, будем отчислять процент с выполнения плана работникам. Если сейчас он получает два, три миллиона в месяц, то по новой системе хозяйственного расчета рабочий должен получать не менее тридцати, а то и шестидесяти миллионов, то есть двести-триста, а то и четыреста рублей золотом.

– Так это же материальная заинтересованность, – сказал Борисов, – которая не имеет ничего общего с диктатурой социализма.

– Диктатура и социализм понятия разные, Иван Николаевич. Диктатура пролетариата нужна для того, чтобы нашу буржуазно-демократическую, Октябрьскую революцию, простите за небрежность ответа, превратить в социалистическую. А первый путь в революцию социалистическую – это налаживание транспорта.

– Ничего я не понимаю в этой буржуазно-демократической и социалистической. Я только одно знаю: раньше было мясо, а сейчас нет, – ответил Борисов. – Раньше можно было писать в газете что угодно, а сейчас за высказывания против вас сажают в каталажку.

Дзержинский ожесточился:

– Писание в газете? А кто раньше писал в газеты? Вы? Так вы были грамотны. А сколько было грамотных в России, Иван Николаевич? Можете страдать за Россию и несчастный русский народ любить, но будьте же объективны! Кто имел возможность учиться в России? А сейчас имеют возможность учиться в России все! А вот учить некому, потому что профессора бегут за гра-

[illegible]

нищу, а учителя манкируют школы.

— Иван Николаевич, — заметил Николаев, — я стою на позициях ваших, но — точность прежде всего. Феликса Эдмундовича держали в тюрьме за то, что он выпускал свою газету.

— Кто сажал?

Николаев пожал плечами:

— В конечном счете — мы...

Поезд остановился. Машинист долго давал гудки. В вагон заглянул секретарь Дзержинского — Беленький.

— Стрелки не работают, Феликс Эдмундович, сейчас мы идем менять судну...

— Пошли вместе, — сказал Дзержинский, поднимаясь.

— Ветер сильный, Феликс Эдмундович, — взмолился Беленький.

— При чем здесь ветер!? Свинство какое, а?! Стрелки не переводят, крушения — каждый день, разгильдяйство!

НОЧЬ. ПУТИ.

Вдоль пути идет яростный Дзержинский. Рядом — Борисов и Николаев; чуть поодаль — Беленький и два чекиста.

Дзержинский, рванув дверь, вошел в маленькую сторожку стрелочника. Следом за ним вошли Борисов, Николаев и Беленький.

В сторожке на кровати тихо стонала женщина. Она была укрыта до подбородка тряпьем, ее била лихорадка. Рядом с ней лежал младенец — тихий, иссохшийся.

Дзержинский, изменившись лицом, подошел к женщине, скло-

[illegible]

нился над ней. Пощупал ее голову. Обернулся к Беленькому:

— Это сыпняк.

Взял младенца на руки.

Беленький сказал:

— Феликс Эдмундович, сыпняк, нельзя, заболеете.

Дзержинский резко обернулся, ноздри аж побелели.

— Вы что?! — спросил он. — С ума сошли!

Он снял с себя шинель, под шинелью была теплая тужурка, сняв тужурку, укутал маленького. Прижал его к себе. Надел сверху шинель. Обернулся к Борисову и Николаеву:

— Вы выйдите, действительно. Заболеете еще... — Обернулся к Беленькому: — Попросите товарищей взять женщину, отнести в вагон.

— А стрелку-то как переведете? — спросил Беленький.

— Я переведу, — буркнул Борисов, — это я еще...

СЕРПУХОВ. РАННЕЕ УТРО.

Дзержинский, Николаев и Борисов вылезли из вагона.

В сумерках были видны десятки составов на другой стороне Оки, дымы из труб паровозов валят.

А фермы моста провалились. Мост, последняя ниточка, связывающая Москву с х л е б о м Сибири, — оборвана.

К Дзержинскому подбежал чекист:

— Товарищ нарком, фермы взорваны...

— Не взорвана она, — вздохнул Борисов, — а сгнила просто-напросто.

Чекист сдернул брезент с земли — старик-часовой лежал

на снегу; в груди – нож, холодные глаза широко открыты.

– Это тоже "просто-напросто"? – спросил чекист, задергивая брезент.

Дзержинский посмотрел на Борисова и Николаева:

– Через три дня в Москве кончится хлеб.

– Мост можно восстановить за две недели, – тихо сказал Борисов.

Николаев поднял воротник пальто, взял кусок металла, валявшийся возле вагона, спустился на лед Оки. Ударил железякой по льду – показалась вода.

– Пустим по льду, – крикнул он Дзержинскому.

Борисов фыркнул:

– Вот уж за это они вас непременно шлепнут – хорошего льда надобно ждать месяц.

– А мы хороший лед нарастим, – сказал Николаев. – Они сюда нашего брата, буржуя, пригонят под конвоем – три дня работы, и два метра льда гарантирую.

– Я по такому льду не пущу машиниста вести паровоз, – сказал Дзержинский.

– Машиниста – не надо, – легко согласился Николаев. – Вы меня пустите...

Т А Л Л И Н.

Кабаре "Золотая звезда". Темный зал. Лида Боссе репетирует новую песню. Аккомпанирует ей старый, уставший пианист, голодный, видимо. Половина бутерброда лежит перед ним на крышке рояля. Ударили в колокольчик. Поет Лида песню грустную, всегда она такие пела.

Вечернее солнце на секунду ворвалось в темное здание ка-фе, когда вошел туда Роман Валакас. Весь в черном, высокий, модные, лайковые перчатки в руке. Он подошел к Лиде, галантно, по-хозяйски взял ее за руку, поцеловал. Пахло от него сухими английскими духами.

— Любезный, а вы мне должны подарить хотя бы поцелуй, иначе обижусь.

Т А Л А Н Т.

Улица. Идут Роман и Лида вдвоем.

Лида повторила:

— Гарпальмюнг? По-моему, я с ним виделась, Роман.

— Поэтому я спрашиваю.

— Журналист, что-то все мне льстил, о чем-то спрашивал.

— Он у обоих пишет? В "Русском деле"?

— Он для всех пишет, для французов тоже.

— По тому, как человек говорит, иногда для себя, мелочи, можно вывести: поверхностный — глубокий, трусливый — смелый, умный — дурак, решимый — нерешим. Ну-ка, вспомните.

— А "умный дурак", такое возможно? — спросила Лида, усмехнувшись.

— Конечно, — сказал убежденно Роман. — На свете живет масса умных дураков. Значительно меньше дурных умниц. Это не парадокс, это действительно так.

— Он задавал очень сухие вопросы, — сказала Лида. — Деловитые. Так русские журналисты не спрашивают. Видно было, что писал он не для здешней русской прессы, а на запад. Помните, когда я в Берлин уезжала?

— Конечно.

— Он очень сухие задавал мне вопросы, ни до чего не хотел докопаться, видимо ему нужно было срочно передать информацию. Другие-то долго спрашивали: и про то, какие я пирожные люблю, и почему именно "Сене", и какой цвет белья меня больше всего привлекает... Мерзость какая...

— Ну, почему же мерзость? Всё правильно. У него — своя работа, у вас — своя.

— Плохая я вам помощница, Роман... По-моему, он как улитка, он в себе, и очень быстрый: спросит — ответит, спросит — спрячется. И когда он ушел, — он первым ушел, газетчики-то еще в гостинице оставались, — никто ему вслед не посмотрел. А когда Петя Тимофеев уходит, все оборачиваются. Потому что Петя — обаятельный, он хулиган, и сюртук у него розовый, и любовниц часто меняет. Или Карл Густавович, например... Он всегда позже всех на пресс-конференциях появляется, тихий такой, а все смотрят на него как на звезду, потому что Карл Густавович искусству привержен, и если артисту становится плохо от колючих вопросов, он поможет, он всегда какую-то с собой нежность приносит. Над ним хоть и посмеиваются его коллеги, но любят, потому что в мире, где нет добра, немного добро особенно заметно.

— Когда у вас сегодня выступление?

— Как всегда. Около часу. Придете?

— Не знаю, — ответил Роман. — Вряд ли. И если не очень обременит вас моя просьба, постарайтесь от двух до трех не выходить. Ждите меня, ладно?

В А Р В А Р А.

Тот высокий широкоплечий, Протопопов, что принял от Виктора Михайловича Чернова, вождя эсеров, шифрограмму в Рязанское отделение почты, достал из кармана бумажку, остановился на [illegible], еще раз проверил адрес, бумажку порвал медленно, бросил в канализационный сток, вошел в дом. Поднялся на четвертый этаж. [illegible].

Открыла старушечка, [illegible], с умным лицом, и [illegible] у [illegible].

- Добрый день, - сказал он. - Меня зовут Протопопов Василий Васильевич. Могу я видеть господина Самоцветова?

- Проходите, пожалуйста, Василий Васильевич. Я его тетя. Михаил Алексеевич будет очень скоро.

- Могу полюбопытствовать, где он?

- В газете.

- А у вас телефона нету?

- Откуда такая роскошь?

- [illegible] [illegible] одна до [illegible] Кон и [illegible]

- Ну почему же одному? А я?

- Я [illegible] Михаила Алексеевича не слышала.

- Он будет рад вас видеть, - сказала Мария Васильевна. - Он всегда с нежностью вспоминает своих друзей по борьбе.

- Которые сейчас [illegible] статьями в [illegible] [illegible] террору?

- России угоден Ленин, - сказала Мария Васильевна. - Нет, нет, не думайте, я не ленинистка, но вообще... Люди никогда не пойдут за тем, кто чужд им.

- Бог их знает... - сказал Протопопов. - Бог знает... - повторил он задумчиво. - Позвольте через два-три часа вернуться? Только предупредите Михаила Алексеевича, чтобы не отлучался, ладно?

- Куда же ему отлучаться-то? Отлучаются те, кто бриллианты с собой увез, фамильные драгоценности.

<u>Т А Л Л И Н.</u>

Редакция газеты. Треск машинок. Быстрые переговоры репортеров.

Роман заглянул в одну дверь, во вторую. Спросил стенографистку, стриженую коротко, по моде:

- Солнце мое, покличьте, пожалуйста, господина Гермельмана...

- Позже будет.

- А где он сейчас?

- На бегах.

- Он там чем изволит заниматься? Журналистикой или игрой?

Стенографистка стрельнула глазами в молодого Романа, ответила:

- Репортерством, сударь, чистым репортерством.

Роман погладил ее по щеке, достал из кармана конфету, выскочил из редакции, сел за руль своего новенького "Рено" - тупорылый, резвый, скорость громадная, 80 километров в час, помчался на ипподром.

<u>ИППОДРОМ. ЛОЖА ПРЕССЫ.</u>

Роман вошел в ложу, кивнул [illegible] стоящему около

него человеку:

- Гершельман где?

Тот недоуменно посмотрел на Романа.

- Как где? У касс.

- Ну-ка, покажите мне его.

- Я вам не лакей.

- Так и я вам в долю войду, - сказал Роман.

- Вторую, седьмую, двойной ординар. Пять билетов. Десять рублей.

Роман требовательно взял репортера под руку, сунул ему десятку, тогда лишь, когда тот глазами показал на рыжего тощего человека , который шептался о чем-то с "жучками" возле касс.

Новый заезд должен был начаться через несколько минут. Роман словно бы сфотографировал Гершельмана. Он осмотрел его лицо, увидел как тот худ, как впалы щеки; увидел его быстрые руки, потрепанный сюртук, стоптанные башмаки. Потом он снова стал смотреть на его лицо, вычисляя глаза, нос, уши, разрез рта, быстрого, нервного, не сжатого в сплошную русскую мужскую линию, а несколько расплывчатого.

- Гершельман, - сказал он, - давайте знакомиться. Я здесь руковожу фирмой экспорта-импорта. И вы мне поэтому нужны.

- Здравствуйте, - ответил Гершельман, неожиданно для его облика сухо и колюче. - Только я никакого отношения к экспорту-импорту не имею.

- Я знаю, к чему вы имеете отношение, - сказал Роман.- Вы мне нужны, я покупаю и продаю. А вы, как умный человек, должны покупать и продаваться.

– Ставки каковы? – спросил Гершельман.

– От вас будут зависеть. Говорить будете или поостережетесь?

– Честь имею, – сказал Гершельман. – До свиданья. Мне было приятно с вами познакомиться.

– Гершельман! – окликнул его Роман. – Не торопитесь уходить. Вы Пронина готовили к поездке?

Гершельман стремительно обернулся.

– Я сейчас подниму скандал и потребую, чтобы полиция проверила ваши документы.

Роман достал из кармана паспорт.

– Немецкий, – протянул его Гершельману.

Тот просмотрел паспорт, вернул его Роману.

– Гершельман, – еще тише сказал Роман, – дело заключается в том, что Пронина к поездке в Варшаву готовили вы. А Пронин сейчас в Москве, на Лубянке.

Лицо Гершельмана стало мертвенно-бледным.

– Вы с ума сошли! – прошептал он. – Вы сошли с ума.

– Поехали ко мне, я покажу документы о том, что Пронин арестован чекистами. Значит, ответственность за его провал несете вы. Или думаете о переброске улик к чекистам через кого-то третьего? Потому я и советую вам поехать вместе со мной и про возможного третьего вместе подумать. В противном случае за вашу голову я и ломаного гроша не дам.

МАЛЕНЬКАЯ ДАЧА В ЛЕСУ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА.

Роман и Гершельман сидели около камина. Роман подбрасывал поленца в огонь, потягивал вино из хрустального бокала с вы-

той зеленой ножкой.

– Вы, наверное, удивитесь, – продолжал Роман, – но я представляю интересы монархии. Да, да, я монархист, для которого эсер ранее был врагом. Социалист, революционер, коммунист, сукин сын. Помогаю вам, Гершельману. Почему? Да потому, что враг у нас теперь с вами общий.

Гершельман допил свое вино, посмотрел на бутылку, перевел взгляд на Романа. Тот понял:

– Наливайте, наливайте, херес у испанцев отличный, нет лучше напитка. Так вот, дорогой Гершельман, – наблюдая за тем, как тот выпил бокал и сразу же наполнил его, – интересует меня во всем этом деле одно: почему вы не дали Пронину вашего пароля?

Гершельман пожал плечами:

– Зинзинов сказал, что Пронина знают, нечего в дерьмовую конспирацию играть.

– Кто Пронина знает в Варшаве?

– Сладкопевцев...

– Откуда знаете?

– Зинзинов справлялся.

– Кто – кроме вас – знал о Пронине?

– Зинзинов.

– Что же, по-вашему, – Роман прикрыл глаза, – Зинзинов передал чекистам данные на Пронина?

– А что же, по-вашему, я? – спросил Гершельман.

– Вы или Зинзинов – больше некому.

– Будет вам, – сказал Гершельман устало. – Если я служу,

то служу честно.

– Кому? – Роман достал из кармана паспорт, бросил его перед Гермельманом. – Допустим, это ваш, гражданин Бельгии. Неужели вы не понимаете, что служите вы честно или не служите, – все кончено. Россию вспять не повернешь? – Роман достал из заднего кармана брюк пачку денег. – Это не вознаграждение.

– Вербуете? – спросил Гермельман.

– Вербуют противников, – ответил Роман. – Какой вы противник? Вы раздавленный человек, Гермельман, голодный, раздавленный человек. Дохлестнувший человек. А вы ведь книжки писать хотите. Каждый репортер мечтает роман написать. Берите деньги и бегите отсюда к чертовой матери. Иначе – убьют вас, эсеры не выстрелят мимо. Только предварительно, – вон бумага лежит, – напишите мне все: как, где, каким образом переправили Пронина и через кого информация о нем могла уйти к чекистам.

– Послушайте, – сказал Гермельман, – я ничего не понимаю.

– Ну и не надо вам всего понимать. С предложением моим согласны?

– Что значит – согласен? – Гермельман взял паспорт, посмотрел его еще раз, пересчитал деньги, отошел к столу, взял бумагу, карандаш, вернулся в кресло.

– Здесь писать неудобно, – сказал Роман.

– Я – репортер, – сказал Гермельман, – колени – мой письменный стол. Ну, что писать-то?

– Сейчас, – сказал Роман, – минутку. – Он вышел в другую комнату, вернулся с аппаратом фонографа. – Давайте-ка отмотаем вашу пленку. Вы уж извините меня, но давайте-ка послушаем.

Роман нажал кнопку, и глаза Гормальмина округлились: он услышал свой голос.

Роман выключил фонограф.

– Вам известно, что Пронин – тот, фальшивый – под подозрением?

– Да.

– Что будут делать с ним?

– Опознавать его будут. Сладкопевцева к нему повезут.

НОМЕР В ТУРЕЦКИХ БАНЯХ. ЛОНДОН.

Специальный агент британской "Интеллидженс сервис" Сидней Рейли и генерал Роберто. "сэр Пол", заместитель министра иностранных дел, ведающий разведкой, лежали на мраморных лежаках – хорошо тренированные, ухоженные мужчины. Массажист Гасанов, безмолвный, ласковый в движениях, разминал сэра Пола.

– В восемнадцатом году вы тоже говорили, Рейли, что дни Ленина сочтены. И в девятнадцатом, когда сидели у Лопухина, и в начале двадцатого, уповая на Колчака, – говорил сэр Пол. – Где гарантии, что я снова не окажусь болтуном? Ллойд Джордж хочет стать миротворцем. Чтобы подвигнуть его на действия – нужны веские доказательства вашей правоты.

– Поволжье вымирает, сэр. Голодная рана в центре России. Множество ортодоксальных партийцев отшатнулось от Ленина после того, как он ввел нэп – они считают, что он стал на путь ревизии марксизма. Целый ряд крайне левых комиссаров в оппозиции: они полагают, что закон – не для революции, только винтовка, только понуждение. Такого еще не было в Рос-

они, генерал. Оппозиция среди своих — самая опасная. А мы ставим не фрондирующих — держателей акций, которых лишили прибылей; мало это. Все эти эсеры, кадеты — милейшие, честные люди, но они — прошлое России...

— А — будущее?

Рейли ответил — убежденно, весело, с о з о р и н к о й в глазах:

— Царь голод.

— Они голодают уже седьмой год, Рейли, а прок каков?

— Они голодали в пору войны. Русские могут вынести всё — в годину национального испытания. А сейчас мир. И не просто мир, а совершенно особый: Россия имеет конституцию, первую в своей истории, и Ленин ввел нэп, который уравнял крестьянина и предпринимателя с рабочим — в определенной, правда, мере. Но что может сделать нэп, когда транспорт, то есть средство обмена между станком и хлебом, отсутствует в России? Дзержинский выступил третьего дня перед профсоюзами: "У нас выведено из строя девяносто процентов мостов и рельсовых путей". На восстановление транспорта — десять лет. За это время империя Ленина развалится — изнутри развалится, умрет с голода, пустыней будет, пустыней, куда придем мы, чтобы поднять ее и возделать...

— Декларации, — поморщился Робертс. — Предложений не слышу, Рейли. Нет конкретики...

Рейли усмехнулся:

— Захотелось-таки конкретики? Перестали почитать меня за болтуна?

Массажист хлопнул Робертса по спине, сказал:

- Все, сэр...

Робертс блаженно укрылся простыней; Рейли, в свою очередь, простыню сбросил, подставил спину массажисту.

- Предложения сводятся к следующему: первое - блокировать всех специалистов, которые могли бы помочь Кремлю наладить транспорт и промышленность. Второе - ставка на тех, кто стал в оппозицию к новой экономической политике.

- Вы полагаете, что с такого рода программой Ллойд Джордж поедет в Канны? Первая конференция Антанты с мирными предложениями Ленину, попытка сломить агрессивность Пуанкаре, стать признанным миротворцем, - усмехнулся Робертс, - а вы - с работой против специалистов...

- Неужели Каннская конференция состоится?

- Она откроется через две недели, Рейли. Европа - ныне и без России невозможна.

- Смотря какой России.

- Любой.

- Значит, мы капитулируем перед Кремлем?

- Вовсе нет. Мы будем сражаться с ними и впредь - но по-европейски, в перчатках. Хотите - объясню как?

<u>ПАРИЖ, РЕЗИДЕНЦИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.</u>

[illegible] из лондонских турецких бань, личный агент немецкого магната Стиннеса, генерал жандармерии Глеб Витальевич Глазов - в английском синем костюме стоял возле окна в особняке великого князя и наблюдал за тем, как садовники подстригали газон.

– Оба из петербургской охранки, – полуутверждающе сказал Глазов, не обернувшись, дежурному по приемной полковнику. – Высокий, мне кажется, ротмистр, в секретном отделе служил...

– А второй из охраны великого князя, он всегда с ними, – согласился дежурный. – Его высочество любит лица тех, к кому привык, господин генерал.

Распахнулись высокие двери, на пороге вырос полковник, начальник личной охраны "претендента на русский престол", выкликнул:

– Генерал Глазов, его высочество вас ждут...

Великий князь Николай Николаевич [illegible] взглянул в глаза Глазова, спросил тихо:

– И что же вы предлагаете? Я в вашу голову верю, Глеб Витальевич...

– Я – тоже, – горько усмехнулся Глазов. – А предлагаю я следующее, ваше высочество... Я предлагаю превратить железные дороги, полустанки России в новую Вандею.

– Полустанки – далеко... Что проку от них? На Дальнем Востоке и японцы сидят, и американцы, ну и какой резон? В России все Белокаменная определяет, кто в ней – тот и победитель.

Глазов покачал головой, усмехнулся чему-то:

– Главная наша хвороба, ваше величество – простите за прямоту – в том, что подданных слушать не умели, врожденно полагали, что сверху все виднее... Москву силой не возьмешь... Ее голодом надобно задушить. А в Сибири весь хлеб, вся надежда... И коли Дзержинский этот чертов хлеб вывезет – все, крах, конец нам. А не сможет хлеб переправить в Москву и Поволжье – мы вернемся. И решит успех или неуспех Дзержинского техническая интеллигенция; сможет он их обратить в свою веру –

пойдет дело; сможем мы ему не позволить – наша взяла, победа. Вам бы, ваше высочество, сегодня не следовало бы встретиться с друзьями из правительства и рассказать им про миротворчество Ллойд Джорджа... И против этого его миротворчества попросить содействия в нашей операции...

– В какой?

– В моей...

– Намерены возглавить лично?

– Кому ж еще-то?

– Верных людей в России имеете?

– Таких было там в обилии, что ворон думает, ваше величество...

ОСОБНЯК В ПАРИЖЕ.

Высокий генерал почтительно проводит к машине великого князя:

– Я глубоко благодарен, Ваше Величество, за столь горестную для нас обоих информацию о британском вероломстве. Увы, мы в Париже, к этому начинаем привыкать...

Он подсадил великого князя в машину, помахал рукой, вернулся к себе, сказал на ходу секретарю:

– Соедините меня с британским послом... Позор мой – секретная информация из Лондона в руках у русских!

ПАРИЖ. РЕСТОРАН "РАСПУТИН"

Виктор Новский пел с надрывом, горестно:

– Помню, помню, помню я, как меня мать любила,
И не раз, и не два, она мне говорила...

Глазов сидел в темноте, возле окна, смотрел на парижскую опостылевшую ему слякоть, тяжело пил. К нему подсел – когда песни кончились – скрипач оркестра, спросил участливо:

– Горько, ваше превосходительство?

– Да уж не сладко, Гриша... Налей себе.

Скрипач Гриша выпил, подышал корочкой – хлеб белый, мать иху французскую, разве ж это ч е р н я ш к а, спросил:

– Может в совдепье представительство податься, а? Все-таки, доцент консерватории... Здесь – Гриша, а там, глядишь, снова Григорий Георгиевич?

– Может быть, – согласился Глазов. – Если не "социально опасный", значит, Григорий Георгиевич.

Глазов не видел, как из-за портьеры медленно поднимался ствол "кольта"; мушка – на переносье, на его красивом, глазовском, со скорбной морщинкой.

"Гриша" резко склонился к лафитничку...

Грохнул выстрел.

Лицо Глазова обдало дымной кровью Гриши, бедолаги Григория Георгиевича...

Человек, стрелявший из-за портьеры, выскочил из ресторанчика, впрыгнул в поджидавший его автомобиль.

Рейли, обернувшись – лицо в темных очках – спросил:

– Ну?

— Все, — ответил стрелявший, — больше не посоветует, конец Глазову...

ВАРШАВА. КВАРТИРА САМСОНЕВИЧА.

Мария Васильевна потчевала чаем Аиду Кузмину (ту "проститутку", что жила в одном пансионе с "Прошиным"), смотрела на все добро, а Аида, мешая русские и французские слова, рассказывала старушке:

— Так получается, что человека не видишь, какие-то две-три светские сплетни, а все равно представление создается точное.

— Неужели вы, такая юная, тоже в борьбе?

— Да вы что!? Борьба — для мужчин, я — женщина, мы — слабый пол. Промываем раны воинам, готовим крепкий чай поутру, варим на костре целебные снадобья. — Аида краем глаза глянула на часы, укрепленные на стене.

Тетушка вдруг замерла, глаза ее засияли.

— А это он, — она прислушалась к шагам на лестнице.

— Я ничего не слышу.

— Это только тетушки слышат, — ответила старушка. — Он сейчас по второму этажу идет.

И, действительно, через мгновенье в дверь постучали. Тетушка открыла дверь. На пороге стоял Протопопов — шифровальщик Чернова.

— Добрый вечер, Мария Васильевна, совестно поздно тревожить. Михаил Алексеевич уже дома?

— Нет, мы его ждем, — ответила Мария Васильевна. — Входите, пожалуйста.

Протопопов посмотрел на Лиду, разделся, сел к столу.

- Мы с вами, по-моему, не знакомы, - сказал он Лиде.

- Меня зовут Нина Батижур.

- Нина и Батижур? - Протопопов улыбнулся. - Нина - русская, Батижур - француженка. И акцент. И акцент... французский или русский?

- Скорее, русский, - сказала Нина.

Татьяна снова напряглась вся, лицо ее расплылось в улыбке.

- А вот это - он, - сказала она, и отворила дверь; на пороге стоял Сладкопевцев.

Протопопов поднялся:

- Я от Виктора Михайловича, у ЦК к вам просьба.

Лицо Сладкопевцева исказилось:

- Вы же знаете - я отошел. Я хочу быть с Россией, а не с партиями.

- Вас господин хочет увезти, - прошептала Лида, - а я пришла всего на пять минут, вопрос идет о моей жизни и смерти.

Сладкопевцев медленно оторвал взгляд от высокого, полуобернулся к Лиде:

- От кого вы? - спросил он.

Лида решительно взяла его под руку и увела в кухню, прикрыв за собой дверь.

Протопопов спросил Марию Васильевну:

- Откуда она?

- Это сестра товарища Мишеньки по ссылке.

– У вас впервые?

– Да, – ответила Мария Васильевна. – С трудом разыскала.

А на кухне между тем Лида Кузякина шепотом говорила Сладкоповцеву:

– От вас зависит жизнь человека. Вы ведь один можете опознать Пронина.

– Пронина? Где он?

– Сейчас, видимо, вас повезут к нему. Но там – не Пронин, там мой брат.

– Я ничего не понимаю.

– Там мой брат, и надо, чтобы вы в нем узнали Пронина.

– Кто он?

– Вы можете передать мои слова вашим прежним товарищам по партии... Тогда меня убьют сегодня же. Я из Москвы.

– Не болтайте чепухи.

– Клянусь всем святым, что есть у меня. Я из Москвы. И тот товарищ, к которому вас повезут, чтобы вы опознали его, останется жив, если вы опознаете в нем Пронина. Если же вы не узнаете в нем Пронина, его убьют у вас на глазах.

– Вы из ЧК?

– Да.

– Почему вы открываетесь мне?

– Потому что вы любите свой народ, и я его люблю, потому что против этого народа замышляются ужас, кровь и горе.

– Садитесь.

– У нас нет времени садиться. По-моему, тот господин, что ждет вас, должен сразу же отвезти вас в пансион, к Пронину.

- Я не учен предательству, но я не хочу кого бы то ни было прикрывать. У меня чистые руки. Я верю в Россию, больше ни во что.

- Ну, это декламация, - сказала Лида. - Либо - там, либо - здесь. Среднее разве дано?

- Видимо, дано, если оно перед вами.

- У меня только одна просьба: откажитесь хотя бы идти сейчас. Скажите, чтобы человека завтра провели мимо вас, человека, который вам известен как Пронин, с которым вы были вместе в ссылке. Они это устроят, они это умеют. Скажите, что это Пронин, постаревший, поседевший, но он.

- Вы не боялись придти ко мне?

- Боялась.

- Сколько вам лет?

- Двадцать три года.

- Почему вы с ними?

- Потому что это моя родина. С кем же мне быть еще? С Пуанкаре, что ли? С Ллойд Джорджем?

- Быть с родиной - не значит жить там. Принадлежность к родине - духовна.

- Снова декламация.

- Вы всегда были с большевиками? Или раньше тоже примыкали к эсерам?

- Это вы про отчаянную юность? Ничто человеческое мне не чуждо. Нет, я всегда была с большевиками.

Сладкопевцев подошел к Лиде, взял ее за плечи, жарко прошептал:

- А если я попрошу отплатить за все добро?

- Вы хотите, чтобы я к вам спать пришла?

- Не считайте меня подонком. Да и сил нет любить женщину. Любить женщину силы нужны. А я голодный. Русский. Паспорт мне вернут?

Лида ответила:

- Меня уполномочил придти к вам человек, которого зовут Шеф.

Сладкопевцев достал часы "Павел Буре", открыл крышку, показал Лиде портрет - он и Дзержинский.

- Этот Шеф?

- Этот, - ответила девушка.

Сладкопевцев вернулся в комнату, сел к столу. Протопопов придвинулся к нему, - на лице заданная улыбка.

- Кончили шептаться? У меня к вам просьба. На час отлучиться со мной. Речь идет об очень важном деле. Виктор Михайлович по старой дружбе на вас уповает.

- В чем дело?

- Мне неловко. Это - с глазу на глаз...

- Пустое...

- Неловко, - повторил высокий. - Если вы подарили мадмуазель Лиде пять минут, мне-то уж подарите?

Сладкопевцев поднялся, вышел на кухню. Следом за ним вышел Протопопов.

- Что у вас?

- Михаил Алексеевич, вы с Прониным сыску отбивали?

- Отрывал.

- Он вас ждет.

- Где? Почему сюда не пришел?

- [illegible] он.

- Завтра утром, сейчас я не в силах.

- Судьба партии в ваших руках.

- В этих? - Сладкопевцев протянул свои руки - худые, морщинистые. - В этих руках не только судьбу, в этих руках миску-то со щами не удержишь. Завтра утром, - сказал он, - завтра утром...

НОЧЬ. МАЛЕНЬКАЯ ТЕМНАЯ КОМНАТА.

На кровати спит Гершельман.

Рядом с ним, на стульях, сидят двое - сразу понятно, из б о е в к и эсеров.

Один из них достал сигарету, закурил.

Гершельман вскинулся испуганно.

Второй взял его за волосы, стащил на пол.

- Откуда паспорт и деньги, гад! Кто уплатил! За что!

Т А Л Л И Н.

Зиновьев проводил Гершельмана на пустом ночном железнодорожном перроне; стояли около вагона "Таллин- Варшава".

Зиновьев старался не смотреть на лицо Гершельмана; до того оно было растерянным, жалким; ссадины возле виска еще кровоточили, губы были вывернуты, как у негра.

Рядом стояли те двое, из боевки.

Когда прозвенел третий звонок, Шиманов посадил Горшальмана в вагон.

— Слушайте, вы, — сказал он глухо, — я прошел девятьсот пятый год. Мы к вам привыкли, когда это не страшно было, когда Борис Викторович кончил свой стих печатать, когда на кресле вы сидели, а Керенский речи в судах произносил. А я вам сейчас говорю как старый боевик: если вы не сделаете то, что вам надлежит сделать, мы вас решим, даже в Аргентине. Там ранчо длинное есть, в горах, возле Огненной Земли. Мы вас и там найдем. Казнить будем страшно. И всю вашу родню, это я твердо обещаю, переведем. Мне это страшно говорить, это я вам по-солдатски говорю, а как иначе прикажете? Так вот, вы встретитесь с Прошиным, и если он — подмена, решите вопрос на месте, без объяснений с Черновым, понятно? А если наш Пролин здоров и в порядке, вы мне того перевозчика, который вам деньги поучил, из-под земли достанете. Ясно?

— Ясно.

Поезд тронулся. На подножку вскочил один из боевиков, сильно подтолкнул Горшальмана в вагон, поднял руку, приветствуя Шиманова.

Тот кивнул, сунув руки в карманы пальто, зябко поежился.

КВАРТИРА ДЗЕРЖИНСКОГО В КРЕМЛЕ.

За столом — Горький, помешивает ложкой чай в стакане; слышен тяжелый детский кашель.

Горький нахмурился, посмотрел на приоткрытую дверь; Дзержинский стоял над кроватью сына, укрывая его одеялом.

Мальчик успокоился, повернулся на бок. Дзержинский на цыпочках вышел из комнаты, закрыл дверь, шепнул – извиняюще:

– Зося в больнице, так что мне приходится няньковать за нее и за себя.

– Что с Софьей Сигизмундовной? – спросил Горький.

– Легкие. После тюрьмы это у нее каждую осень и каждую весну.

– А где лечат?

– Нашли хорошего профессора. Плату берет сугубо небольшую. Рассчитываю, он поможет. Зося, что важно в таком случае, ему верит.

– Вопрос веры в медицине – суть главенствующее, – заметил Горький. Если доктор может вселить в тебя уверенность, побудить организм к борьбе, ей-богу, человек поднимется.

– Эти ваши слова, Алексей Максимович, я помню еще по Капри, – улыбнулся Дзержинский. – Постоянство – это типично для литератора, видимо?

– Смотря для какого. Иной литератор постоянен, прям, как рельс, и также однозначен. При этом однозначность – штука вообще-то опасная, что-то в ней есть от внутреннего терроризма.

– Снова меня сравнить собираетесь, – посмеиваясь сказал Дзержинский.

– Да как же вас не сравнить-то? Снова в Питере арестовали двух профессоров.

– Вы имеете в виду Тарасова и Кривошеина? – утвердительно спросил Дзержинский.

– Именно. Я этих людей знал по девятьсот пятому году.

Они тогда скрывали у себя революционеров.

- Но ведь тогда в революцию шел и Савинков с Азефом.

- Они социал-демократов большевистского толка скрывали. Ногин у них жил, Томский.

- Что касается Таганова, я ничем помочь не смогу. Улики неопровержимы. Таганов после победы революции скрывал у себя дома не только эсеров, но и явных монархистов. Есть показания арестованных, его признание.

- А вы прежде всего признаниям верите, Феликс Эдмундович?

- Ни в коем разе. Я с Тагановым сам беседовал.

- Ну и что же? Так и сказал, что "я - контрреволюционер и хочу свержения Советской власти"?

- Нет, так не сказал. Он сказал иначе: " Да, я не могу отказать тем людям, с которыми я дружил; да, вопрос их убеждений для меня вторичен, а вопрос человеческой привязанности первичен". Но ведь существует честность и честность. Честность по отношению к одному человеку, и честность по отношению к классу. Если бы смогли победить те, кто у Таганова скрывался, они бы с вами не разговаривали, не допрашивали бы вовсе, улик не искали, - они бы вешали вас на столбах, гражданин, Алексей Максимович. Вас, кстати, одним из первых.

- Значит, под трибунал? Расстрел?

- Трибунал - да, расстрел - нет. Думаю, по отношению к Таганову мы ограничимся другой мерой. Времена полегче, гражданской войны нет. Видимо, ограничимся домашним арестом. Пусть работает в своей лаборатории. Естественно, под нашим контролем. Жить может дома, но матрос из ЧК сидеть будет у

входа. Что касается Кривошеенко, дело мне до конца непонятно. Следователь у него был парень молодой, увлекающийся. А Кривошеенко – человек слабый, сломанный, сдается мне, к компромиссам. А ведь твердость нужна не только дома или в университете. Когда горе случилось, когда посадили тебя, – твердости надобно поболе. Не виновен – отстаивай свою правоту.

– Это, полагаете, просто?

– Очень не просто. Но коль случилось, – умей и стоять на своем, если прав. Словом, по второму эпизоду я разберусь лично, и вас поставлю в известность. Думаю – завтра. Мое предварительное мнение: человек не виновен, попал, как кур в ощип. Но давайте-ка я все же перепроверю себя мнением товарищей. Вы Ганса Артузова, нашу контрразведку, помните ведь?

– Ценю сугубо.

– Я уже просил его влезть в это дело. А он правду чувствует писательски, сказал бы я, ощущает ее.

– Что касается писательской правды, Феликс Эдмундович, то штука это сложная, мы из иного материала рублены. Вы – политики, требуете категорического решения.

Дзержинский возразил:

– Не всегда.

Горький поморщился:

– Всегда. Нравится мне это или нет – это правда. А поскольку все разумное – действительно, то и действительное разумно. Следовательно, категоричность в политике – если она, понятно, истинна, – не страшна. Но ведь, видимо, литератор потому и пришел к творчеству, чтобы нести в себе некую альтернативу,

то есть предлагать политику для возможных решений, уличить его, что ли...

— Алексей Максимович, это постановочно неверно. Не может писатель предлагать политику решения. Политику предлагает рабочий класс, его интересы.

— Класс состоит из людей.

— Верно. "Мы" только тогда "мы", когда каждый из нас остается индивидуальностью, "я", — согласился Дзержинский. — Однако работа литераторов носит характер особый, отстраненный, что ли, от государственной практики. Вы, литераторы, выносите на суд общественности мнение. А нам, политикам, нужно принимать и подписывать декреты. Мне, в частности, приходится утверждать постановление трибунала на расстрел... Жестоко? Еще как... А что прикажете делать? Полгода назад разтрибунил судья Яцека Долголедного, которого я прекрасно помню по девятьсот пятому. Анархист-боевик, гроза Варшавской охранки. Я с ним тогда встречался, пытался объяснить, что его храбрость псевдо-революционна, она — лишена здравого смысла. Я полагал, что его можно спасти для революции. В девятнадцатом я его вынул из одного дела, снова уговаривал. А сейчас взяли с поличным: восемь ограблений. Последнее дело — убийство кассира на пивоваренном заводе. Похищено семьдесят тысяч золотом. Для личного обогащения? Нет. Передал деньги на издание подпольных анархистских листков. Чего эти анархистские листки требуют? Советов без коммунистов, второй Кронштадт. Что мне делать? Ответьте, Алексей Максимович.

- Вы говорили с ним перед тем, как подписать приказ о расстреле?

- Да.

- Говорили как с врагом, который обречен? В пустые глазницы ему смотрели, Феликс Эдмундович?

- Нет. Я и тогда пытался взять с него честное слово, что он отойдет от анархизма.

- А он?

- Отказался.

- Выслать из России поостереглись?

- Он сказал, что в тот же день тайно перейдет границу, дабы продолжать борьбу.

- И его расстреляли? - спросил Горький.

- Да, - ответил Дзержинский, - расстреляли, Алексей Максимович.

- Но ведь действие рождает противодействие. Так мы до конца ввергнем себя в сюжет воистину библейский: "брат на брата, сын на отца".

- У Владимира Ильича давно были?

- Сегодня был. Он меня с Тагановым-то к вам и отправил.

- По моему предложению штат ЧК сокращается на семьдесят процентов, Алексей Максимович. Я обратился в Политбюро с просьбой отнять у ЧК все дела и передать на рассмотрение гласных судов - война кончилась, новое время настало. Кое-кто со мной не согласен. Товарищи полагают, что я иду на поводу у реформаторов, хочу облегчить работу нашим дипломатам на переговорах с Европой. Это, конечно, ерунда.

Играть не обучен, поддакиваться смысла нет — заметят, немедленно в слабости уличат и, кстати, будут правы. Повторяю: гражданская война, навязанная нам, кончилась, время кидать камни и время собирать их... Я посмотрел данные по террору — как белому, красному, так и зеленому. И что же получается, Алексей Максимович? Первый смертный приговор, вынесенный ВЧК, мною, мною, — был по делу князя Эболи в феврале восемнадцатого, когда он — по поддельному мандату ЧК — грабил буржуев. "ЧК грабит буржуев", понимаете? Этого мы прощать не могли. У нас в коллегии четверо были "за", один против — Урицкий.
Его и убили спустя пять месяцев, но объявили красный террор лишь после покушения на Ленина. А каледенцы и красновцы до этого расстреляли без суда и следствия тысячи наших товарищей. А мы все ждали, обращались к благородству, под честное слово отпускали красновских генералов на Дон.
Но ведь терпенье не безгранично! Что нам было делать?
Кровь — да. Жестокость — да. Но ведь, видимо, если смотреть со стороны, с точки зрения абстрактного гуманизма, рождение дитя — это тоже жестокость. Это тоже кровь, тоже мучение. Как же быть с главным? С продолжением рода? Вы — в своем "Рождении человека" не давали альтернативы, однозначно писали правду, разве нет?

— Головою вас понять можно, но ведь сердце — оно орган особый, ему не прикажешь. Оно чувству подвластно. А чувство — не управляемо.

— Вы, Алексей Максимович, придете к пониманию моей правды. Не сейчас, позже, видимо, но придете.

Горький достал папиросу с длинным мундштуком, закурил её.

– Так, значит, семью Таганова можно успокоить?

– Да. Он завтра утром дома будет.

Горький вытащил из кармана конверт, надел очки, прочитал:

– "А.М.Пешкову, который сам был заключенным Александровского централа, от узников Таганской тюрьмы ЧК". Мне пишут, – сказал он, и лицо его сделалось больным, сморщенным, горьким. – Мне пишут, Феликс Эдмундович – не вам. Почему?

– Кто пишет? – спросил Дзержинский. – Мне ведь всякий писать не станет, Алексей Максимович.

– Анархисты пишут. Эти – особенные совершенно. Ничего не хотят, вину свою признают, просят об одном лишь: отпустить их на похороны Красного, их идейного вождя, сподвижника Кропоткина. Старик отсидел на каторге двенадцать лет, Феликс Эдмундович.

– Вы можете мне отдать это письмо?

Горький протянул письмо, достал из кармана второе:

– Это – оттуда же, Феликс Эдмундович, из тюрьмы. Десятки моих прежних знакомцев сидит...

– Во имя жизни миллионов следует жертвовать десятком – естественно, виновных, таких даже, с которыми когда-то мы были вместе...

– Ну, а ежели среди тысячи виновных один невиновен? – спросил Горький.

– Тогда, – ответил Дзержинский, – нет мне прощенья.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ТАГАНСКАЯ ТЮРЬМА.

Поздняя ночь. По коридору тюрьмы идет Дзержинский. Навстречу ему идет комендант тюрьмы, рапортует:

– Товарищ председатель ВЧК...

– Вот здесь, – перебил его Дзержинский, протянув конверт, переданный ему Горьким, – двадцать семь подписей. Арестованные настаивают на своей невиновности. Давайте-ка, – с сожалением что поздно, днем времени у меня нет, – вызывайте людей, я буду с ними разговаривать.

Дзержинский отошел к зарешеченному окну, сел на табурет, закурил.

Из камеры вышел человек, заросший щетиной, в офицерском кителе.

– Садитесь, – сказал Дзержинский. – Ваша фамилия?

– Саульский. Виталий Владимирович.

– Офицер? – спросил Дзержинский.

– Генерального штаба полковник. С кем имею честь?

– Дзержинский.

– Я ведь к вам не обращался.

– Пишете Горькому и полагаете, что он будет с вами собеседование вести? Все-таки, видимо, вы рассчитывали, что он со мной поговорит о вашей судьбе? Вы пишете Горькому, что оклеветаны и арестованы без всяких к тому оснований?

– Совершенно верно.

– Кто вас оклеветал?

– Грибунков.

– Кто таков?

– На фронте он был писарем в том полку, которым я имел

часть командовать. Почерк отменно плох, ренегальдий и пьяница. Ныне он в профессии, произносит речи. Я выразил ему свое презрение.

- Где работали перед арестом?

- На кожевенной фабрике.

- Кем?

- Экспедитором.

- Почему не служили в Красной Армии?

- По идейным причинам.

- Приглашали в качестве военного спеца?

- Трижды.

- Считали недопустимым служить быдлу?

- Я русский, гражданин председатель, и народ свой быдлом не считаю. Я не намерен служить мерзавцу Грибоушкову.

- В чем вас обвиняют?

- В том, что я террорист.

- Улики?

- Улик нет.

- Завтра в два часа дня вам будет сообщено о решении коллегии ВЧК.

Когда Спуньский ушел, Дзержинский поднял глаза на коменданта тюрьмы:

- Что вы о нем можете сказать?

- Не знаю... Зря разве сажают?

Дзержинский нахмурился:

- У всякого нормального человека должно сердце содрогаться от жалости к человеку, заключенному в камеру - даже к врагу... Так-то вот... Пригласите следующего.

Из камеры вышел крепкого сложения коренастый мужчина с лицом, изъеденным прыщами.

– Вы обращались с жалобой на неправильный арест, – сказал Дзержинский. – Готов выслушать ваши претензии.

– Гражданин председатель Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, истый крест, вины за собой не чувствую...

– Обвинение предъявлено?

– Точно так, предъявлено.

– В чем же вас обвиняют?

– В том, что я вроде бы муку со склада увозил.

– Вы ее увозили?

– Истый крест, не брал.

– Истый крест – не доказательство.

– Проверяйте меня, гражданин председатель. Увидят люди, что я бережливо живу, дети сыты, обуты, жена в доме счастливая...

– Ваша фамилия?

– Сухарьков, гражданин председатель Всероссийской Чрезвычайной...

– Петь не надо, это же не церковь. Если вы похитили хоть килограмм муки, пощады не ждите, Сухарьков. Если вас оклеветали, будете освобождены. Идите.

Комендант тюрьмы посмотрел на Дзержинского:

– Феликс Эдмундович, да он ведь десять мешков на рынок пустил! Это же барыга, спекулянт! У него же при обыске бриллиантов мешок отобрали! Золотых рублей нашли на 27 тысяч!

- Тем не менее, посмотрим еще раз. Кто следующий?

Из камеры вышел старый, маленький человек.

- Какие у вас претензии? - спросил Дзержинский.

Человек сел, руки сжал между коленями и ответил:

- А у меня претензий нет, Феликс Эдмундович. Жизнь она и есть жизнь. Сегодня ты, завтра я. Беспамятная она, жизнь.

Дзержинский приблизился к маленькому человеку, жадно всматриваясь в его лицо.

Комендант тюрьмы склонился к Дзержинскому:

- Феликс Эдмундович, это тварь, нелюдь, жандармский прихвостень, стражником здесь был.

Дзержинский еще ближе придвинулся к лицу маленького человека и вдруг, дрогнув голосом, сказал:

- Павел Васильевич, жандарм ты мой дорогой, здравствуй!

Лицо человека запрыгало. Он упал с табуретки на пол, пытаясь схватить руку Дзержинского и поцеловать ее.

Дзержинский старика поднял; на лицах чекистов отразилось недоумение.

Дзержинский обнял старика:

- Ну, не плачь, - сказал Дзержинский. - Ну что ты, Павел Васильевич... Давай-ка вещи собирай, я тебя домой отвезу.

Старик снова сел на табуретку, не в силах подняться. Лицо его прыгало, все в слезах.

Дзержинский обернулся к коменданту:

- Помогите ему вещи собрать... Этот стражник мои письма тайком переправлял, гулять позволял больше положенного, о провокаторах предупреждал вовремя. Да, да, стражник Таганской тюрьмы, этой самой проклятой, где я четыре года кровью от-

хорошего. Пойдем, Павел Васильевич, пойдем, мой золотой. Отведите-ка его в машину, я с анархистами говорить буду. Где они у вас?

- Уже выстроены на третьем этаже, Феликс Эдмундович.

Дзержинский стоит перед строем арестованных анархистов:

- Вы просили отпустить вас на похороны Красного. Каждый пойманный - должен дать мне честное слово, что, проводив старика на Новодевичье, вы вернетесь в тюрьму. Готовы к этому?

Вышел первый анархист:

- Клянусь. Иосиф.

Второй:

- Клянусь вернуться, Астроном.

Третий:

- Клянусь, Дзержинский.

Гремит похоронный марш.

Дзержинский, стоя у окна, смотрит на анархистов, которые идут за гробом.

- Если анархия снова выйдет открыто на улицы - жди грозы, - Дзержинский слышит за спиной голос Николаева.

- Грозы не будет, - сказал Дзержинский, - я их отпустил из тюрьмы - под честное слово. Они вернутся в камеру через два часа.

- Верите в честное слово?

- Да.

- Врага?

Дзержинский резко обернулся: Николаев стоял у стены, возле огромной схемы движения поездов по Оке, через лед.

- Вы хотите, чтобы я ответил вам "нет"?

- Я хочу, чтобы вы ответили, - тихо повторил Николаев. - Как угодно.

- Раньше, до октября, ответил бы "нет". А теперь не могу. Раньше был "я", а теперь существует государство. И окружено оно врагами, и если я подписываю договор с врагом, а это форма честного слова, я должен и заставить себя верить - даже врагу... Никогда не мог представить себе, как это тяжко - бремя ответственности за твое государство...

- Сложный вы человек...

- Да и вы не простой. Ну, что у нас по Оке?

- Мужики потребовали сто тысяч за земляные работы и наледь.

- У нас нет этих денег.

- Пошлите войска - пусть их сгонят.

- Вы - серьезно?

<u>ДЕПО. МИТИНГ.</u>

На площадке паровоза - Дзержинский.

- Товарищи! Мы переводим вас на хозрасчет, каждый час вашей работы оплачивается отныне по качеству и коэффициенту эффекта. Но кто сказал, что рабочий человек откажет своему государству в помощи, когда придет такое время? Москва останется без хлеба, не пусти мы составы по льду Оки! Эту работу рублем не оценишь - ее сердцем можно оценить и рабочей совестью. Хороший заработок за честный труд - одно, а кулацкое крохоборство - совсем другое. Кто из вас согласен сегодня отправиться

в теплушках за Оку? Прошу голосовать!

Николаев и Борисов, стоявшие в толпе, переглянулись - все рабочие подняли руки. Кто-то запел:

- Вставай, проклятьем заклейменный!

Подхватили все, гремит в депо "Интернационал".

<u>О К А. Н О Ч Ь.</u>

Горят костры.

Десятки железнодорожных составов.

Тысячи рабочих бьют наледь; прокладывают по шпалам рельсы; среди них - Дзержинский, работает наравне со всеми.

Борисов идет вместе с Николаевым вдоль ледяного пути.

- Вы убеждены, что паровоз пройдет? - тихо спросил Борисов.

- Пройдет. Должен.

- Расстреляют ведь на месте, если что не так...

- Неужели смерти боитесь, Иван Николаевич?

- Позора боюсь.

Николаев остановился возле стыка - сразу видно, укреплен плохо.

- Эй! - свирепо крикнул Николаев. - Кто здесь работал?!

- Ну, я, - ответил молодой парень.

- Ты не работал, а безобразничал! - яростно закричал Николаев. - Это что - работа?!

Он ударил ногой по стыку, и рельсы разошлись.

В напряженной тишине, тяжело д ы ш а в ш е й работой, яростный голос Николаева был услышан всеми.

Все замерли.

– Так работают мерзавцы, которых надобно гнать взашей! – продолжал неистовствовать Николаев.

– Ты мне не тычь, буржуйская харя! – рявкнул парень с опухшим (по всему – испитым) лицом. – Я – пролетарий, а ты – чиновник подлючий! Дают волю буржуям! – крикнул он, обращаясь к рабочим. – Снова на шею нам лезут!

Дзержинский подошел к стыку. Ударил ногою второй рельс – и тот разошелся.

– Замолчите! – сказал он парню. – Не смейте кричать!

– А ему – можно?! – парень кивнул на Николаева.

– Ему нельзя говорить вам "ты" и называть "мерзавцем", а вот мне положено отдать вас под суд за преступную халатность, которая могла кончиться трагедией, если бы не эта – как вы изволили выразиться – "буржуйская харя".

Первый паровоз медленно спускается по отводному пути на лед.

По льду пошли две стремительные трещины.

Тысячи людей, стоявшие вокруг, отшатнулись, ахнули. Из паровоза выскочили машинист и кочегар, бросились к берегу.

Сузились глаза Дзержинского, метнулись к Николаеву.

Тот почувствовал взгляд, сбросил шубу на лед, побежал к паровозу, взобрался в кабину, пустил — споро, знающе — пар, дал скорость.

Идет паровоз по ледяной дороге, расходятся трещины.

Николаев дает еще большую скорость, выглядывает в окошко; глаза — сокольи, щелочками; мертвая, отрешенная улыбка на лице.

Кончилась река, состав поднялся по скосу, на московскую сторону Оки.

Николаев соскочил на землю. К нему бежали сотни людей, Дзержинский, — стараясь скрыть хрип в легких, — впереди.

Обнял Николаева, расцеловал.

— Водки пусть дадут, — сказал Николаев. — Стакан.

НОЧЬ. ГРАНИЦА.

Сквозь табун, близко всматриваясь в темные глаза коней, крадется Глазов.

Он видит (луна окаянная, светло) пограничный столб, буквы РСФСР.

Пограничник ходит вдоль речки, молоденький паренек в шлеме.

Глазов, осторожно нагибаясь, перерезает постромки, связывающие ноги коней.

Он идет все ближе и ближе к реке, потом достает из кармана шило и резко ударяет коней, что рядом с ним.

Кони с ржанием бросились к границе.

Среди них, задыхаясь, бежит Глазов.

Пограничник, растерявшись, вскинул в и н т а р ь, но стрелять не может; перемахнули кони легкий ледок реки, а с ними - Глазов.

Бежит он по лесу, потом падает в изнеможении; лицо - в слезах.

Крестится истово, целует землю, гладит ее руками, шепчет:

- Матушка Русь, здравствуй...

ВАРШАВА

Номер в том пансионе, где Вася и Коля стерегут Пронина. Пронин лежит на кровати, сомкнув глаза. Коля спит в кресле. Вася подремывает, сидя на подоконнике, - два кольта на коленях.

Вдруг Пронин приоткрывает глаза, потому что в соседней комнате слышен шум, визг, пьяный смех. Лида Кузякина, "француженочка", смеется чему-то громко, нахально, вульгарно. Потом

наступает тишина, а потом она поет веселую французскую песенку. И слышит Пронин в ее песне французские слова:

– "Ами де ву! Лев Сладко, читай наоборот, он теперь твой друг! С ним ты был в ошибке, его приведут к тебе, а ты узнай в нем нашего. Он,Лев Сладко,узнает тебя, хотя ты никогда не видел его. Времена сменили тяжелы. Лев Сладко... Тебе для него пароль человек Иван Гервель, или Гервель , читай наоборот..."

Потом у Лиды наступает тишина, слышен звон разбиваемой посуды, снова каблучки простучали и – конспирация она и есть конспирация – Лида шепнула невидимому спутнику своему (не было спутника, играли они, но Коля с Весей играли): "Тише, пан, тише, пускай я не буду пьяной, я буду трезвой").

"Тук-тук-тук" по лестнице каблучки.

Тишина.

ПОЕЗД

Прижавшись лбом к стеклу окна купе, стоит Гервельман, рядом – боевик.

– Утром – Варшава, – говорит он, – ложитесь-ка спать...

ВАРШАВА

Номер в пансионате."Веся, " Коля", "Пронин".

Дверь открылась. Первым вошел Протопопов. Руки в карманах, сразу видно– браунинг держит. Следом шел кто-то, кого Протопопов закрывал собою.

Протопопов стремительно глянул на Колю и Весю, сделал шаг в сторону; на пороге стоял Сладкопевцев.

Пронин медленно поднялся с кровати, шагнул навстречу.

- Миша?! Сладкопевцев? Здравствуй! - сказал он.

Лицо его было белым и напряженным.

- Здравствуй, - глухо ответил Сладкопевцев. - Рад тебя видеть, Пронин.

Протопопов глянул на Васю и Колю, кивнул головой:

- Товарищ Пронин, мы пошли. Ждём тебя на совещание в десяти.

- Спасибо за проверку, - усмехнулся Пронин. - Заходи, Миша, садись.

Протопопов, Вася и Коля ушли. Бледный Сладкопевцев остался на пороге. Коля приблизился к двери, слушая, как затихали шаги троих на лестнице.

По-кошачьи ловко и бесшумно открыл дверь: в коридоре пусто.

Пронин вернулся в комнату, сказал:

- Спасибо, товарищ Сладкопевцев.

- Я не товарищ вам. Просто очень хочу вернуться на родину.

- Значит - товарищ.

- Ни о чем другом не мечтаю - только о доме.

- Вам нужно немедленно поменять квартиру, потому что Чернов так или иначе узнает о Пронине.

- Перестаньте, - поморщился Сладкопевцев, - не надо думать о нем, как о варваре.

КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА ЧЕРНОВА

За столом - пятнадцать человек.

Чернов, улыбчиво глянув на Прокопа, пожал плечами: "мол, ничего не поделаешь, проверка есть проверка".

— Товарищи, мы все в сборе, — заговорил он. — Времени у нас в обрез. Хочу сообщить, что мы на-днях передислоцируем в Москву три новые группы. Поэтому мы надеемся на явки всех тех, кто присутствует на сегодняшнем нашем заседании. Что могут сказать товарищи анархисты?

Поднялся анархист.

— Товарищ Чернов, явки наперечет. Нашему движению чекистами нанесен серьезный удар. Не хочу преувеличивать наши возможности: у нас осталось три квартиры. Их мы готовы передать. Первая — Смоленский переулок, семь. Вторая: Бородинская, дом три, старуха Гаврикова. Это все.

Один из собравшихся поднял руку:

— Прошу слова.

— Цека Бунда, товарищ Акимович, прошу.

Поднялся бундовец.

— Думаю, что нам нужно разбиться на двойки или — в крайнем случае — тройки. Не потому, что я не доверяю кому-то из товарищей, присутствующих здесь. Вопрос в ином: все мы знаем, как готовится террор: это дело двух людей: глаз в глаз.

Чернов поморщился:

— Товарищ Акимович, конспирация конспирацией, но надо было завязать все в единый узел, цель у нас одна.

— Думаю, мы должны избрать центр в составе вашего представителя и представителей от бундовцев, анархистов и товарищей меньшевиков.

Чернов оглядел собравшихся:

- Будем голосовать? Кто за предложение товарища Бундовича?

Все подняли руки.

- Я и воздерживаюсь, - сказал Чернов. - Но я вынужден присоединиться к мнению большинства. Давайте разобьемся на группы. Комнат у нас достаточно.

<u>ВАРШАВА. ВОКЗАЛ</u>

Останавливается поезд. Из вагона выходит Горнольман и боевики. Идут к выходу, скрываются в толпе.

<u>ВАРШАВА</u>

Маленькое кафе. Бронин сидит напротив Лиды, жует бутерброд, запивает кофе.

- Значит так, Лидуня, - говорит он тихо. - Запоминай пр-ни. Анархисты передали Чернову дом № 7 по Второй Бородинской, старуха Гаврикова держит. Там встречают люди Алексея Черного, боевики. Второе: Узкое, это от Москвы порядочно, думаю, километров тридцать, по Старо-Калужскому шоссе. Дом под вязами возле озера. Владеет им Антон Потапенко. Их пароль будет отзываться следующее: "Муку привез, но мука заплесневела". Отзыв: "Заплесневелую муку передайте брату". - "Так ведь брат твой по муке не спец, он все больше ячменем интересуется". Отзыв: "Ячмень-то ячмень, но мука тоже нужна". Пароль: "В таком случае пусть погреется. Чайку дать?" Отзыв: "Чаю нет, а самогоном угощу".

- Иван Васильевич, я запомнила, - сказала Лида, - но у меня на сердце не спокойно.

- Думаешь, у меня спокойно?

- Уходить надо. Факты ведь уже есть...

- Мне нужно следом за анархистом - обговорить детали с октябристским деятелем, они тоже присылали делегата, сволочи. Жди меня тут. Я сейчас с ним переговорю, и после этого мы сразу же с тобой уедем. И Сладкопевцева вывезем - он под ударом.

КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА ЧЕРНОВА

Напротив Пронина сидит октябрист.

- Мы пока что передадим вам две явки - их больше, однако мое ЦеКа приняло решение отдать остальные в зависимости от ваших успехов. Первая: аптека на Маросейке, Иван Фомич Струнин. Передадите привет от Аркадия Аркадьевича, который осенью страдает чахоточными кровотечениями и поэтому хочет жить на Лазурном берегу. Вторая явка - Сретенка, девять, квартира пять, инженер Николаев Кирилл Прокопьевич, передать привет от Геннадия Макаровича, сибиряка, который возит в Москву кодрач с синим срезом...

Пронин записал на бумажке адреса и пароли.

- Вы с ума сошли? - поинтересовался октябрист.

- Я сожгу это при вас. Если не запишу - не упомню.

- Хорошо... Теперь - о Николаеве... Тут разговор особый...

И в это время Пронин услыхал резкий звонок у входной двери. Полез за сигаретами, протянул помятый "Зефир" октябристу. Тот покачал головой, достал из кармана длинную английскую сигару. Пронину, впрочем, не предложил.

ПРИЕМНАЯ

Гершельман и боевик вошли в квартиру.

- Я от Зиновьева, - сказал Гершельман. - Шифрограмма пришла?

- Пришла. Гершельман?

- Да.

- Сколько у розы листьев?

- Семь.

- Какого цвета? - обратился Протопопов к боевику.

- Алые, - ответил тот.

- Шипов много?

- Шипы срезали.

- Ну, проходите, - сказал Протопопов. - Что случилось?

- Пронин здесь? - спросил Гершельман.

- Здесь.

- Проводите меня к нему.

- Он занят.

- Проводите, пожалуйста, к нему, товарищ Протопопов, - сказал боевик.

- А в чем дело?

- Поручение Зиновьева.

- Ну, пошли, - сказал Протопопов.

Он отворил дверь, где сидел Пронин с октябристом. Гершельман вытер глаза, медленно потер лицо, потом полез в карман, достал два пистолета и начал в упор стрелять в Пронина.

Боевик выбил у него пистолеты, повалил, выхватил из кармана стилет, вонзил в горло.

Пронин, окровавленный уже, бросился к окну, вывалился со

второго этажа, заметил что-то, побежал по улице. Раздались свистки полицейских. Истекая кровью, Пронин ввалился в кафе, где сидела Лида, упал к ее ногам.

Из рук у него выпала бумажка с адресами, которые диктовал октябрист. Он что-то хотел ей сказать, поднялся на локтях, шепнул:

– Беги ско...

Из горла его полилась кровь.

Лида опустилась на колени, перевернула его на спину. Пронин был мертв.

– Иван Васильевич! – закричала Лида. – Иван Васильевич! Дядя Ваня...

Свистки полицейских все ближе и ближе.

Перепуганный владелец кафе стоял, прижавшись к стене.

Лида схватила бумажку, выбежала из кафе, свернула во двор.

ВАРШАВА. НОЧЬ

Лида кивнула на подъезд, где жил Сладкопевцев, высокому парню, который выслеживал Протопопова, ведшего от художника Лебедева на квартиру Чернова.

Парень вошел в подъезд, поднялся на последний этаж, постучал в дверь. Она оказалась не запертой. Парень сделал шаг, второй; включил свет – на полу лежала старушка Мария Васильевна; Сладкопевцев – рядом; весь пол был залит кровью...

НОЧЬ. ПЕРМЬ

Глазов и трое в кожанках, те, что "работали" под чекистов,

остановились возле вагона; состав вот-вот двинется.

— Послезавтра сбор на явке Николаева, — негромко сказал Глазов. — Там получите все указания. Ясно?

— Да, Глеб Витальевич, — ответил старший.

— Его квартира по-прежнему надежна?

— Неделю назад там отсыпались.

— Принесли, что я просил?

Старший, оглянувшись, протянул Глазову лимонку:

— Чеку сорвать — и все, работает безотказно, разносет в клочья.

Глазов сунул лимонку во внутренний карман пиджака, прыгнул в вагон, оборачиваться не стал, скрылся в душной темноте.

МОСКВА

Чекисты окружают дом на Смоленской. Обмениваются паролем. Арестовывают анархиста.

Трое приходят в дежурную аптеку на Маросейке. Обмениваются паролем с аптекарем. Арестовывают.

Налет на дом в Узком — арест анархиста.

(Камера как бы панорамирует по коридору ЧК):

Арестованный аптекарь давал показания:

— Я должен был дождаться людей из-за кордона, перейти в подчинение и выполнить все их просьбы. Мне сказали, что обращаться ко мне будут лишь в экстраординарных случаях, потому

что моя сестра работает в Наркомпросе и через нее можно наладить слежение за маршрутами Крупской, супруги Ульянова-Ленина.

Арестованный анархист смотрел на следователя с улыбкой:

- Никаких показаний давать не стану. Я был верен и останусь верен великой идее всемирной анархии производителей.

- Это оставьте для трибунала, - сказал следователь. - Я поставил вам конкретный вопрос: когда вы ждали связников из центра по проведению террористических актов?

- Никаких показаний давать не буду.

В третьей комнате.

Арестованный давал показания:

- Меня ориентировали на то, чтобы я, никак сам в акциях не участвуя, предоставлял квартиру для террористической группы.

Следователь спросил:

- Против кого должен быть обращен террор?

- В первую очередь против Ленина и Дзержинского

- Кто вас об этом информировал.

- Человек, которого я знаю по фамилии Лоштон. Живет он в Берлине. По моим сведениям, связан с Антантой. Один раз ночевал у меня с человеком, хорошо говорившим по-русски, но, кажется, англичанином.

- Следователь полез в стол, достал фотокарточку:

- Он?

- Да.

- Это Рейли.

Кабинет Дзержинского.

Напротив него - Артунов.

- Я не понимаю, Феликс Эдмундович, почему вы не разрешаете взять Николаева? Он дома, под наблюдением.

Дзержинский закурил, ответил:

- К нему я поеду один.

- Я не могу вам этого позволить, Феликс Эдмундович.

- Я человек дисциплинированный, - вздохнул Дзержинский, - но в данном случае придется пойти на нарушение дисциплины, Гиво Христианович. Сначала я еду к Чичерину, с вашими документами, а потом - к Николаеву. Один. Ясно?

МОСКВА. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

Дзержинский сидел напротив Чичерина, держал в руках окровавленную бумагу, - ту, что успел Лиде Кузякиной передать "Пролан".

- По-моему, Георгий Владимирович, - тихо, с болью говорил Дзержинский, - нота должна быть до такой степени резкой, чтобы Антанта поняла: мы точно знаем, кого они у себя поддерживают, и можем предпринять встречные шаги; более такого злодейства терпеть не намерены.

- Такого рода нота, Феликс Эдмундович, сильно рассорит нас с теми на Западе, кто поворачивает к разумной позиции.

- С теми не рассорит. А как быть с мастодонтами? Позволить им стрелять в Ленина?

- Ужасно все это, - сказал Чичерин. - Ужасно и глупо. Я просто-напросто не могу понять логику Антанты.

- А я могу, - тихо и горько ответил Дзержинский. - Могу, Георгий Владимирович, могу...

ЛОНДОН. КАБИНЕТ ПРЕМЬЕРА

Красин, стоя напротив премьера Ллойд Джорджа, заканчивал чтение ноты:

-"...правительство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики полностью осведомлено о неблаговидной роли тех представителей официальных кругов Лондона, которые снабжают оружием, деньгами и фальшивыми документами русских контрреволюционеров, планирующих проведение террористических актов против руководителей нового государства. Вся ответственность за последствия подобного рода акций ложится на правительство Его Величества. Мы оставляем за собой право предпринять такого рода шаги, которые будут признаны нами целесообразными. Чичерин, нарком иностранных дел".

Красин вручил ноту премьеру, поклонился, вышел.

Ллойд Джордж закрыл папку, на которой был вытиснен герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, посмотрел на министра иностранных дел Хора и на шефа британской секретной службы сэра Питера.

Пожевал губами:

- Сэр Питер, ваши разведчики были инициаторами этой затеи с русскими террористами?

- Нет, - ответил сэр Питер.

- Может быть, - заметил министр иностранных дел Хор, - все это затеяли на нижних этажах, сэр Питер?

- Нижние этажи моего ведомства, сэр, привыкли советоваться с верхним этажом - особенно в вопросах такого рода.

- Кто же их финансировал? - спросил Ллойд Джордж.

- Армия, - убежденно сказал сэр Питер. - Два моих лучших специалиста по России - Рейли и Локкарт, люди, которые знают Московию трагично и высоко - проинформировали меня об этом.

Ллойд Джордж посмотрел на Хора:

- Как вы предлагаете ответить на такого рода ноту?

Хор пожал плечами:

- Отвергнуть, как бездоказательную.

- Но она доказательна, - сказал премьер.

- Я готов дать понять Красину, что мы открещиваемся от поддержки организованного террора против Кремля.

- Но Красин потребует гарантий, - сказал Ллойд Джордж. - Согласитесь, он будет прав.

- Я никогда, ни при каких условиях не дам Красину никаких гарантий, сэр, - сказал Хор.

Шеф британской секретной службы вытянул ноги, откинулся головой на спинку кресла:

- Можно устать от любви, от работы, но имеем ли мы право позволить себе устать от ненависти к ним?

Ллойд Джордж подошел к окну, отворил его. На улице стояли тысячи демонстрантов. Они скандировали: "Руки прочь от России! Хлеба! Работы! Работы! Хлеба! Руки прочь от державы рабочих и крестьян!"

Ллойд Джордж посмотрел на сэра Питера:

- Для того, чтобы ненавидеть, надо уметь улыбаться. Вордсворт прекрасно писал: "Улыбка, как предтеча смерти недруга, должна быть мимолетной, но располагающей". Итак, дорогой Хор, ответ: мы готовы на переговоры с правительством Ленина. Нам не следует закрывать глаза на очевидное: Кремль - это реальная сила. Они доказали свою силу тем, в частности, что

узнали все, что здесь, у нас, затевается армия... Понятно — иначе бы стали...

ПОЛНОЧЬ

На двери табличка: "С.Л.Николаев".

Дзержинский звонит в дверь.

Хриплый старушечий голос тихо спрашивает:

— Кто там?

— Кирилл Ерофеевич дома? — так же тихо откликается Дзержинский.

— Дома. Уже отдыхает.

— А вы ему скажите, что друг приехал.

Зашлепали шаги. Дзержинский обернулся. На лестничной клетке — как он и просил Артузова — никого не было.

— Кто? — спросил Николаев.

Дзержинский, закашлявшись, сказал:

— Я привез кирпич с синим оттиском.

Николаев открыл дверь. Увидел Дзержинского — лицо его залилось мертвенной бледностью.

— Я один, — сказал Дзержинский. — Позволите?

Николаев молча пропустил его, закрыл дверь.

Дзержинский снял шинель, повесил ее на вешалку.

— Куда прикажете?

— Вы еще меня спрашиваете куда? — спросил Николаев.

— Как же иначе? Я ведь в гостях у вас.

— В гостях? — усмехнулся Николаев. — Такого рода гостевание кончается — судя по всему — пулей.

Дзержинский поморщился:

— Давайте-ка без патетики, а?

Николаев пропустил его в свой кабинет, подвинул кресло; Дзержинский сел; Николаев сел напротив.

Воцарилось долгое и трудное молчание.

– Расскажите-ка мне, Кирилл Прокопьевич, как вы жили после октября семнадцатого...

– А я не жил. Меня сажали в тюрьму, освобождали, потом отправляли на принудительные работы – лес пилить. Обыскивали, чистили, гоняли взашей отовсюду.

– Вы когда-нибудь предлагали нам свои услуги?

– Матушка учила: "служить не отказывайся, но служить не напрашивайся". У меня ведь самолюбие – как у вас, как у каждого нормального человека – имеет место быть.

– Вас никогда не просили те, кто торгует "кедром с синевой", пойти к ним на службу?

– Конечно, просили.

– Кто?

– Эмиграция.

– Через кого?

– Вы полагаете, я отвечу – даже вам – на этот вопрос?

– Не позволяет понятие благородства?

– Именно.

– А получать паек и золото от нас, покрывая тех? Это – благородно?

– Паек и золото, коим вы, вероятно, определяете царский рубль взамен советского миллиона, – я еще не получал. Но и получивши, полагал бы сии блага заработанными организацией ледовой переправы: первый в мире эксперимент, как-никак...

– Именно это и дает мне возможность не арестовывать вас, а выслать за границу.

– А кто вам сказал, что я приму это благодеяние, Феликс Эдмундович? Я имел множество возможностей уехать в Европу, но ведь я русский.

– Хотите дождаться реставрации здесь?

Николаев закурил, тяжело затянулся:

– Реставрация, увы, невозможна.

– Давно пришли к такому убеждению?

– Нет.

– Когда?

– После Ленина: когда был с вами в Кремле... Если бы, – на прощанье говоря, – ваши газеты умели писать так, как думает Ленин, – сотни интеллигентов, – какое там, тысячи, – пошли бы за режимом...

– Ну, а как именно должны печататься наши газеты?

– Они должны правду печатать, Феликс Эдмундович, голую правду! А не ложную! Не агитку! Русский интеллигент – явление уникальное! При том, что он сплетник, эгоцентрик, только себя слушает и почитает, при том, что самомнение его гипертрофировано, при этом, Феликс Эдмундович, он – правдолюбец, он первым на каторгу шел – я Чернышевского имею в виду, Радищева, Кюхлю... А за что шел? За правду, которая проскочила в агитке – противно!

– Верно. Отчасти верно, ибо Пугачев не был интеллигентом, и Хлопушей. Мы не можем печатать наши газеты – при бумажном-то голоде – для одной лишь интеллигенции, дабы ублажать ее правдолюбство. Царизм в наследство нам передал всего три процента интеллигентов, остальные – крестьяне и рабочие! И наша задача состоит в том, чтобы интеллигентным стал весь народ – труднейшая, уникальнейшая задача, такой еще мир не знал! Пиши мы в

расчете на интеллигентов – начнут наши правдолюбцы лбами биться, счеты сводить, склоку разведут – пропитывая ее заумными терминами, программы – так уж повелось – не выдвинут, одни дискуссии, а как быть с рабочим и мужиком, который в массе своей неграмотен? Ему мы обязаны объяснить существо вопроса ясно и просто: окружены со всех сторон врагами; внутри их – тоже предостаточно! Голод, разруха! А – работать не умеем! Мы не умеем работать, Кирилл Прокопьевич, вот в чем беда! Капитализм, то есть вы, люди вашего круга, не успели Россию научить профессионализму – царский бюрократ мешал! А потом Керенский кормил фразами и играл в политику, вместо того, чтобы, заключив мир, дать вам простор в работе. Тоже ведь интеллигент был, кстати говоря?! Думаете, смогли бы мы – рассчитывай мы на правдолюбивых интеллигентов – начать кампанию в прессе против уравниловки?! Сразу бы нашлись заступники: "все равны – никого не выделяйте!" А мы пошли на то, чтобы выделять – бесстрашно и богато – да, да, именно так, – выделять тех, кто отмечен печатью профессионализма! Мы Россию из тьмы не вытащим, пока не будем долбить постоянно азбучную истину: "Учитесь! Учитесь учиться, работать! получать за это сполна! Только так из дремучего крепостничества можно выбраться к промышленному развитию, без которого обречены на второразрядность!" Дания – сытая страна, всю Европу сыром снабжает, какая идиллия, право! Может и нам на один лишь хлеб поставить, да на пеньку с медом?!

– Хлеб – золото, его, продавая с умом, можно обернуть на станки и рельсы.

– Да?! – ожесточился Дзержинский. – Это сейчас в России

сто тридцать миллионов, а сколько будет через двадцать лет?! Только-только своих накормим, не до продажи Европе! Выстроим промышленные мощности, проведём дороги в Сибири, поднимем Урал – завалим мир хлебом; не научимся работать – не будет индустрии, металла, паровозов – станем Англией... А он-то не станем, рассказать, – Россия времени великих князей плохо помнит, наизусть несут свой выгоды, кроме нее всего, как и государство собралась, раньше-то враздрызг...

– Россия никогда не была в р а з д р ы з г, – глухо возразил Николаев. – Мы – страна традиций.

– Да будет вам, Кирилл Прокопьевич! Нечего [illegible]! Америка гордится своей молодостью и ведёт отсчёт истории со дня революции против монархии! И о-очень много успела сделать за эти пятьдесят лет независимости! "Страна традиций"! Каких? Радищевской? Или Николая Палкина? Декабристов? Или рабства?! Не надо идеализировать прошлое; это оцепенение, страх перед решениями на будущее! Капитулянтство это! Нашей интеллигентности, если хотите! Я в детстве – дворянин ведь! – тоже стонал по величию Речи Посполитой! А как же – "от моря и до моря!" Но что-то хлопы и чахоточные печатники Радома этим не гордились – во-первых, неграмотны, во-вторых, ещё до эмоций – голод! А играли на великом прошлом могучей Польши мерзавцы-черносотенцы с деньгой! Ладно, – оборвал себя Дзержинский, – мы ушли в сторону. Как быть с вами? Зимин добро говорил, что я не знаю про отъезд за границу Шертова, думал, тот уехал тайно, а мои люди его до границы сопровождали, негласно, конечно, – для его же, кстати, безопасности...

– Я – Николаев, не Шертов. Добровольно за границу не уеду.

[illegible]

- -

Так что, позвольте соберу баул, и — в острог... Не привыкать...

— Кирилл Прокопьевич, — Дзержинский заговорил жестко, рублено, — вы поступаете не по-мужски, говоря точнее, не благородно. Либо вы уедете за границу, причем здесь у вас останется засада, а вас на другую квартиру перевезу сейчас же, либо, коли хотите остаться в России, вы — в соответствии с законом — обязаны назвать мне всех, кто к вам приходил — с этим самым "синим кедром", — что говорил и о чем просил. Арестовывать вас — надеюсь, понимаете — не могу, слишком сложно нас с вами общее прошлое, так что не ставьте, пожалуйста, меня в тяжкое положение...

— Феликс Эдмундович, а вы не ставьте меня в унизительное положение...

— Ну,хорошо, я скажу иначе: если бы к вам — вчера, то есть после того, как вы [illegible] сделали — пришли люди из-за кордона и попросили о помощи, — вы бы им отказали?

— Да.

— О чем они раньше вас просили?

— О ночлеге, Феликс Эдмундович... Приходили мастера, со мною когда-то тянули путь во Владивосток. За ночлег хлебом снабжали.

— И они не просили предложить нам услуги?

В прихожей зазвенел звонок. Николаев посмотрел на стенные часы: час ночи.

— Кто бы это? — спросил он.— Верно, ваши за мною пожаловали...

— Может быть, — ответил Дзержинский. — Откройте.

Николаев пошел к двери; Дзержинский — вслед ему — спросил

задумчиво:

– А коли это "синие кедры"?

Николаев винтом перевернулся:

– Спрячьтесь за портьеру! Я им скажу, что у меня опасно! – Потом, словно возражая себе. – Да нет, пустое! Ваш автомобиль у подъезда? Они же заметят...

– Я отпустил автомобиль. Что шофера зря морозить? Оружие есть?

– А у вас?

– Я не ношу...

Снова зазвенел звонок в прихожей.

Николаев метнулся к столу, трясущимися руками отпер нижний ящик, достал браунинг, протянул Дзержинскому.

– Как с ним обращаться? – спросил Дзержинский. – Я этими штуками не пользовался...

– Что-то надо взвести, а как – не знаю...

– Когда войдут гости, дверь заприте на ключ. Ключ положите в карман. И не волнуйтесь, спокойнее.

Николаев подошел к двери.

– Кто там?

– С железной дороги, по поводу доставки кедра с синевою...

Николаев открыл дверь. На пороге стоял Глазов.

– Разрешите? – спросил он приветливо.

–Входите, – ответил Николаев и, пропустив его, запер дверь на ключ.

– Куда позволите, Кирилл Прокопьевич?

– Куда? – растерянно переспросил Николаев. – Да, уж, право, не знаю...

Дзержинский вышел из кабинета – Глазов шарахнулся к двери.

— Наверно, Глеб Витальевич, наверно, — усмехнулся Дзержинский, — дом окружен, в квартире засада, проходите в кабинет — есть разговор, только оружие отдайте.

Дзержинский протянул руку.

Глазов, как завороженный, полез в карман.

— Он выстрелит! — крикнул Николаев.

— Он умный, — возразил Дзержинский, — стрелять уже поздно.

Забрал у Глазова пистолет, бросил небрежно на столик возле зеркала, повернулся к нему спиной, пошел в кабинет.

Глазов, будто загипнотизированный, двинулся следом.

— Знакомы? — спросил Дзержинский Николаева, когда все сели на кресла в кабинете.

— Нет.

— Генерал от жандармерии Глеб Витальевич Глазов, — сказал Дзержинский. — Меня изволили дважды сажать и единолично допрашивать. Либерал, младотурок от сыска, пороть не позволял — только кандалы... Ну, рассказывайте, Глеб Витальевич, с чем пожаловали?

— Я приехал разоружиться, Феликс Эдмундович.

— Приветствую. Давно прибыли?

— Позавчера.

— Один?

— Да.

— Как перешли границу?

— То есть?

— Легально?

— Польком...

— Где?

— Под Минском.

- Пусто. Под Минском был зафиксирован факт перехода границы – вместе с табуном – девять дней назад. Других переходов за эти дни не было. Так что выход у вас один, Глеб Витальевич – рассказать мне все.

Глазов усмехнулся:

- Первый раз вы предлагали мне работать на революционеров еще в девятьсот пятом году, когда мы собеседовали...

- В Варшавской цитадели, в карцере, – уточнил Дзержинский.

- Феликс Эдмундович, я действительно вернулся девять дней назад – поздравляю, ваша служба показывает класс. Но что, вели меня от границы?

- Чувствовали?

Глазов кивнул на Николаева:

- Что, завербовали моих бедолаг, которые находили приют в этом доме?

- Технику работы оставим в стороне, Глеб Витальевич. Отчего девять дней не разоружались?

Глазов достал из кармана папиросы, посмотрел на Дзержинского:

- Позволите?

- Здесь не я хозяин...

- Пожалуйста, курите, – ответил Николаев, жадно переводивший глаза с Дзержинского на Глазова.

Глазов закурил, глубоко затянулся:

- Феликс Эдмундович, эмиграция научила меня холодному прагматизму, поэтому хочу все расставить по своим местам: расстрел неминуем?

- Я отвечу после того, как вы скажете мне: кто вас послал, с какой целью, что намерены были делать?

- И после этого – к стенке?

- Зависит от того, что станете рассказывать.

- Я, как российский интеллигент, не учен торговле.

- Да? А на чьи деньги приехали? Те, которые субсидируют такого рода поездки, зря денег не дают, а условия обговаривают жестко: там умеют считать валюту.

- Я приехал на те деньги, которые заработал вот этими руками, – Глазов протянул Дзержинскому мозолистые ладони. – Массажист я ныне, Феликс Эдуардович, массажист.

- В гимнастическом зале?

- В банях. К гимнастам не влезть – конкуренция.

- В каком городе парили?

- В Берлине.

- Где именно?

Глазов на мгновенье споткнулся, ответил рассеянно:

- Кройцберг, семь.

- Сколько платили за сеанс?

- Понедельно, гроши...

- Долго деньги на обратную дорогу копили?

- После Врангеля начал, когда наши ушли из Крыма...

- А что вы делали три недели назад? В резиденции великого князя, Глеб Витальевич? – тихо спросил Дзержинский.

Глазов откинулся на спинку кресла, поперхнувшись табачным дымом. Откашлялся, тщательно затушил папиросу, достал из внутреннего кармана лимонку, подбросил ее на руке:

- Если идучи по длинному коридору подбросить яблоко, оно упадет тебе в руки, Феликс Эдмундович, хотя по всем законам логики должно было упасть за спиною... Это я к тому, что мы, все мы связаны нерасторжимыми узами – отныне и вовек... Лиху

сниму, а к ним брошусь, – ну, шум будет! И чекисты ваши вбежать не успеют.

– Никогда вы себя не взорвете – жизнелюб вы, Глазов, большой жизнелюб! Не балуйтесь оружием, положите на стол и рассказывайте правду! – прикрикнул Дзержинский.

И Глазов вдруг заплакал.

– Стивенс меня прислал, – не утирая слез, начал он. – Гуг Стивенс. С великим князем и на свой страх начали, – каждый интеллигент в вожди хочет! Я должен был всю правду рассказать, истую правду – что у вас и как, а главное, как эти, – он кивнул на Николаева, – пойдут с вами, или можно уберечь...

– Николаеву что просили передать?

– Работать с ним просили, повернуть к себе, пока что только явка была у него...

– Как вы должны были с ним работать?

– Я должен был широко осветить его...

Дзержинский пояснил Николаеву:

– Провокаторы Глазова о с в е щ а л и нас, ясно? Это термин у них такой... Где ваши люди, Глазов?

– Завтра придут.

– Сюда?

– Да.

– В какое время?

– В десять вечера.

Дзержинский снова посмотрел на Николаева:

– В девять у нас с вами заседание Госплана, – усмехнувшись чему-то, покачал головой. – Доклад подготовили?

– Нет до конца, – ответил Николаев, не отводя глаз от

Глеба Витальевича, который по-прежнему беззвучно плакал, тиская в ладонях лимонку.

— Положите бомбу на стол, — сказал Дзержинский, — жахнет ненароком.

Глазов послушно положил лимонку на письменный стол, снова полез за папиросой.

— Ночью будете работать, Глеб Витальевич, — сказал Дзержинский, — напишите все явки, пароли, адреса, имена... Завтра с утра, после того, как пару часов поспите, мои коллеги разработают с вами операцию: поедете по стране, объедете там всех ваших людей. Посмотрите, что происходит в России, — мы поможем вам посмотреть пошире, не из подворотни. И напишите Савинкову правду. Пусть не дурит — нас не сломишь.

Дзержинский поднялся, лимонку сунул в карман, сказал Николаеву:

— Собирайтесь, Кирилл Прокопьевич, я вас отвезу в "Метрополь", а Глазову покажите комнату, где он сможет передохнуть...

— Где отдохнуть? — изумленно спросил Николаев.

— У вас. Не гнать же человека на улицу. — Обернулся к Глазову. — Наберите-ка номер пять-двенадцать-четыре, это Артузов, начальник контрразведки, представьтесь, скажите, что ждете его здесь, есть перспективное предложение...

— Но ведь он убежит, — продолжал Николаев, — и бабушка одна...

— Никуда он не убежит, — ответил Дзержинский. — В России ему скрыться негде.

Глазов поднялся, подошел к телефону:

— Барышня, пожалуйста, пять-двенадцать-четыре... Алло,

Ганс Христианович? Это Глазов говорит, генерал Глазов... Доброй ночи вам... Я хочу внести предложение, которое, думаю, может вас заинтересовать...

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ГОСПЛАНА

Прокуренный кабинет Кржижановского; среди собравшихся – Дзержинский, Николаев, Борисов.

Николаев заканчивал выступление:

– Таким образом, если серьезно думать о будущем – мы должны уже сейчас начать проектирование энергетических мощностей в Сибири и на Дальнем Востоке. После того, как мы пронижем Россию сетью железных дорог – этот край станет сказочным, неслыханно богатым, благодатным, отдать этому силы – наш долг перед потомками и наш благодарственный расчет с предками.

Смилга бросил реплику – страстно, атакующе:

– Я считаю верхом наивности сосредоточивать энергетические мощности – точнее, проектировать их создание – в Сибири! Бездорожье, тьма, дикость! Мы не готовы к этому, прожектерство – в чистом виде! Фантазии!

– Фантазеры делают революции! – бросил реплику Дзержинский.

К Кржижановскому подошел секретарь, положил папку с шифрограммой. Кржижановский пробежал текст, улыбнулся радостно:

– Невероятная телеграмма из Берлина! Стиннес предлагает нам контракт на строительство паровозов! Совершенно необъяснимая метаморфоза с эдакой-то акулой, а?!

Смех Николаева показался странным всем собравшимся, а он заливался, хохотал, ударил локтем в бок Дзержинского,

который – играя непонимание – о чем-то переговаривался с Борисовым...

– Товарищ Николаев, – удивился Кржижановский, – я что-то не так сказал?

– Да нет, товарищ Кржижановский, – ответил Николаев сквозь смех, в котором были добрые слезы, – вы сказали совершенно изумительно. Прав я, товарищ Борисов? – спросил он Ефима Николаевича.

Тот пожал плечами и обернулся к Дзержинскому:

– Вы что-нибудь понимаете, товарищ Дзержинский? Я – ровным счетом ничего...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]